

Что слышно (сборник)

Автор:

Лев Рубинштейн

Что слышно (сборник)

Лев Семенович Рубинштейн

Поэт, публицист, один из основоположников московского концептуализма, Лев Рубинштейн – едва ли не самый известный российский колумнист. Его блестящие, остроумные колонки, написанные для “Итогов”, “Большого города”, Esquire, Grani.ru, InLiberty.ru, мгновенно разлетаются цитатами по соцсетям. В своих коротких, точных, смешных текстах он легко развеивает туман пропаганды, проясняя смысл происходящих событий. Но главное, эти маленькие эссе Рубинштейна принадлежат настоящей литературе. И, как любая хорошая литература, они настраивают зрение и слух так, что становится труднее пройти мимо подлога и фальши.

“Что слышно” – самое полное собрание текстов Рубинштейна из трех его предыдущих книг “Знаки внимания”, “Скорее всего” и “Причинное время”, вышедших в издательстве Corpus.

Лев Рубинштейн

Что слышно (сборник)

© Л. Рубинштейн, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

* * *

Ежик кучерявый[1 - Это предисловие Петра Вайля (1949–2009) написано в 2008 году для сборника колонок Л. Рубинштейна “Духи времени”, впоследствии оно вошло в книгу “Скорее всего” (2013).]

Впервой главке “На колу мочало” – образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления.

Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции. Сюда можно было бы добавить многовековую непривычку к критическому чтению. Главную Книгу не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, – даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда наконец перевели с церковнославянского на русский и сделали доступной – вскоре вовсе запретили, на любом наречии.

Рубинштейн, однако, не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. “Что” важнее, чем “почему”: оно, что, влияет на нынешнюю жизнь. Констатировав: “Все большее право голоса обретают вечные второгодники”, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное: “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”.

Ага, непробиваемое, неуязвимое душевное здоровье. То самое, которому дивился Василий Розанов: “Русь слиняла в два дня. Самое большее в три... Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего”. О чем почти истерически едва не теми же словами написал Георгий Иванов: “Невероятно до смешного: / Был целый мир – и нет его... / Вдруг – ни похода ледяного, / Ни капитана Иванова, / Ну абсолютно ничего!” А потом, в 1991-м, так же стремительно рухнул новый и тоже казавшийся неколебимым целый мир. А уже

через десяток лет пошел вспять, и опять все надо повторять и объяснять заново. “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”, – говорит Рубинштейн. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный – два предложения из восьми слов.

Любопытно, что уже в следующей главке снова косвенно тревожится тень Розанова. Рубинштейн мельком замечает: “Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же как, скажем, и о любви к родине”. Это парафраз розановских мыслей: “Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали” и “Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием”. Парафраз, разумеется, невольный, порожденный одинаковым художническим принципом – изъясняться прямо и свободно. Да, вот так просто: всего только прямо и всего только свободно – только нужен еще талант. Чтобы читать было интересно.

Рубинштейна читать хочется – для получения физиологического удовольствия. Когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать.

Рубинштейна читать нужно – это душеполезно.

Рубинштейна читать необходимо – чтобы все замечать и ничего не забывать.

Одна из рубинштейновских книг называется “Случаи из языка” – по сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. “Пространство языка – единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению”, – утверждает он. В главке “Слово на слово” речь о том, как разность мировоззрений проявляется в языковой несовместимости: “Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким кляцаньем и высеканием искр”.

Слова Рубинштейн знает все, а своими владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни: “Вместо того чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться”. Ирония – “противоядие против мракобесия всех видов”. Он убежден, что “язык зла хаотичен и неререфлективен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает – то это уже не зло”.

Универсальный рецепт: смешно – не обидно, смешно – не противно, смешно – не страшно. Все более-менее это знают, но надо же уметь применять. Рубинштейн

так свято верит в прописанное (буквально) средство, что даже увлекается – ведь зло бывает остроумным и может оставаться при этом злом, когда оно чернит истинные добродетели и рушит заслуженные репутации. Однако всегда приятнее перехлест в благодушной недооценке, чем в осудительной переоценке.

В одной из хрестоматийно рубинштейновских историй он рассказывает о каком-то музее: “К совершенно пустой витрине была пришпилена бирка. На ней значилось: «Кучерявость у ежей». На другой бирке, чуть ниже, было написано: «Экспонат на реставрации»”. Да не на реставрации – вот он, книжки пишет: ежик, но кучерявый. Редчайшая разновидность.

При всей язвительности и порывах гневного негодования Рубинштейн в большинстве случаев добродушен – как раз потому, наверное, что уверен в силе (своих) слов. Как трогательно, хотя правдиво и без прикрас, описано коммунальное детство. Как дан портрет коммуналки – смешной, парадный, едкий, домашний, вроде групповых портретов Хальса.

Подробный и сжатый очерк тенденций, явлений и стиля пятидесятых: в полстраницы вместились то, что у других заняло бы толстый том. Чем там занимаются на факультетах журналистики, кого изучают? Есть у тех, изучаемых, рубинштейновская способность к концентрации оригинальной мысли? Запомнить его тесноту слов в строке – и попробовать самому. Ну, мыслить на чужом опыте и таланте научиться нельзя, но хоть глаз наметать – что хорошо, что плохо. Хорошо – чтобы небанально.

Рубинштейн пишет про поражающую взрослых свежесть детского словоизъявления: “Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели”. Получилось, что это он про себя, он именно так умеет, он за нас старается.

С детски равным вниманием и сочувствием сопрягаются музей и помойка: андерсеновское внимание к вещному миру и андерсеновская способность одушевлять неодушевленные предметы.

С нежностью описан сортир, по недостатку жилплощади превращенный в кабинет, в котором почерпнуто (каламбур случаен) так много разумного, доброго и пр.: “Настольные книги читаются там, в местах, где нет стола, но есть покой и

воля”. Это стихи вообще-то: одна строка – четырехстопный амфибрахий, другая – шестистопный ямб. Пробыло-таки поэта на поэзию – и то сказать, предмет высокий.

Щедро и походя Рубинштейн разбрасывает то, что другой бы любовно мусолил страницами. Ему не жалко, и в этой расточительности – расчет профессионала.

Характерно подано то, от чего хохочешь и выбегаешь. Рассказ врача о записи в сельской больнице: “Укус неизвестным зверем в жопу”. Начало романа, написанного девятилетней девочкой: “Герцогиня N сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Бомж, которого прогоняла буфетчица, грозя вызвать милицию, “повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: «Нонсенс!»”. О себе: “Кассирша в нашем супермаркете огорошила меня вопросом: «Молодой человек! Пенсионное удостоверение у вас при себе?»”

Самое уморительное отдано другим – вряд ли потому, что оно в самом деле подслушано и автор поступает благородно, не присваивая чужие шутки. Похоже, часто похоже, что шутки все же его собственные, но он умно и дальновидно вкладывает их в уста персонажей, тем самым создавая животрепещущую панораму, а не фиксируя отдельный взгляд из угла. Мелкое авторское тщеславие отступает перед большой писательской гордыней. Тут высший пилотаж: понимание того, что пересказанная чужая реплика – твоя, если ты ее вычленил из людского хора, запомнил, записал и к месту привел. Твоя и книжная цитата с какой угодно добросовестной сноской – если ты приподнял ее на пьедестал своего сюжета. В подслушанной речи и прочитанной книге не больше отчуждения, чем в своих снах или мимолетных мыслях: это все твое. “Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое”, – говорит Рубинштейн. Все-таки, наверное, не совсем так: его слух ловит и преобразует услышанное в поэтическое – потому что “любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочитываться как объект высокой поэзии”. Потому что “жизнь, вступая время от времени в схватку с жизнью и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится”. Это и есть случай из языка. Случай Рубинштейна.

Описывая свои школьные годы, он замечает: “Ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо – не хуже многих. Но я (курсив мой) вертелся”.

И, как видим, продолжает – это точное описание способа познания жизни. Озирая мир благодаря выбранному методу на все 360 градусов, Рубинштейн, невзирая ни на что, все-таки вертится!

В книге[2 - “Духи времени”. (Прим. ред.)] 62 главы + введение = 63 фрагмента. Охват тем широчайший: писательское призвание, надписи на заборах, актерство и притворство, тоска по СССР, автомобиль глазами пешехода, еврейство, смысл Нового года, эрозия языка, ксенофобия, попрошайки, природа страха, пьяные на улицах, футбол как провокатор агрессивности, страшная и заманчивая Москва, вещи в нашей жизни, запахи, коммуналка, китч, храп, интеллектуальная роль сортира, “свой путь” России. Сколько набралось навскидку? Двадцать одна – всего-то треть.

При этом Рубинштейну словно мало разнообразия в его дробной, многофасеточной исповеди сына века. Он все не унимается, смотрит, запоминает, перечисляет. Перечни жизни – одно из его искуснейших фирменных изделий. Ладно когда речь о весне, но вот – храп: “Хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыханье, трели соловья”.

Эссенция, она же поэма; конспект, он же песня.

И тут же – мастер-класс элегантности письма и точности формулировок.

Емкие метафоры России изготавливаются из подручного (подножного) материала: “Если водка – воплощение всего человеческого, то лед – всего государственного”.

Стиль – сжатость: “Да стоит ли так много говорить о «великой стране», если ты и правда так уж уверен в ее величии?” Или такое: “Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще”. (Снова вспомним Розанова: “Хорошие чемоданы делают англичане, а у нас хороши народные пословицы”.)

Эпитетов, как пристало истинному стилисту, немного, но уж когда есть, то они начеку: “Жирный гламур, наглеющая от полной безнаказанности попса,

несовместимый с жизнью телеюмор”.

Небрежным движением меняются местами заглавная и строчная: “А кто же у нас будет путинным на следующий срок? Неужели опять Президент?”

Исполненный здравого смысла Рубинштейн адекватен – редкое качество. Нет иллюзий – нет разочарований. Но есть надежды – значит, есть горечь. Есть находки – значит, есть радость.

Он пишет о некоем интеллектуале: “Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност”.

О ком бы ни писано – перед нами автопортрет. Дан в главке с примечательным названием “Превратности любви”. А за что любить диагностов? Не за диагноз же, в самом деле.

Петр Вайль

Знаки внимания

В конце концов

В конце концов

Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел...

Иногда к нам приходят откровения, многозначительные метафоры и прочие свидетельства нашей самопровозглашенной гениальности, и сильный, хотя и недолговечный восторг от наших открытий чудных сопоставим по интенсивности лишь с тем горьким разочарованием, которое мы испытываем, когда узнаем, что все это придумано и открыто до нас и без нас.

Я, например, в детстве придумал такую вещь. А вдруг так случилось, что я уже умер, но этого как бы не заметил? Вот как-то так внезапно умер, вроде как бабушка, которая умерла во сне. И мне лишь кажется, что я живу так же, как и жил всегда, – вот мои родители, вот мой брат, вот мои приятели, вот я иду в школу, вот я с помощью проволочной клюки гоняю по улице ржавый обруч от бочки, вот качусь я в санках по горе крутой. А на самом-то деле меня нет, а где-то там, в уже недоступном для меня мире, плачут-убиваются мои родные. А Сашка Смирнов, давясь слезами, говорит: “Да, зря я все-таки отказался менять мою канадскую марку с Ниагарским водопадом на его тайландскую со слоном. Может быть, если бы я согласился, он бы не умер и мы вместе поехали бы в воскресенье на Главпочтамт, где какие-то хмыри обещали нам недорого (всего за семьдесят копеек новыми) продать две серии по четыре марки каждая – бельгийскую с ихними королями и Новую Зеландию с местными птицами. Эх!”

Уже будучи взрослым, я узнал, что подобные озарения навещали очень многих из моих сверстников.

Такая же точно ерунда случилась с моей более поздней, а потому и более масштабной гипотезой относительно того, что пресловутый конец света, о котором так долго говорили религиозные работники всех времен и народов, уже давно наступил, да только мы все его не заметили. И живем себе как ни в чем не бывало уже, так сказать, после всего. Но и это оказалось вполне расхожей штукой. А уже совсем потом появился термин “постмодерн”, который примерно про это самое и есть. А уж про “конец истории” и говорить нечего.

Теперь вот опять что-то про конец света. Все, конечно же, как умеют шутят на эту тему. И подчас не без нервной натужности. Ну, типа, а хрен его знает? А потому вдруг посреди потока макабрического остроумия то один, то другой невпопад вспоминает, что надо бы наконец-то забрать из химчистки дубленку, что хорошо бы не забыть завтра заплатить за телефон и что сын-балбес все никак не может исправить двойку по русскому. Хотя какая там дубленка, какой телефон, какая двойка?

Но всякого остроумия много. Когда-то мой друг и замечательный поэт Виктор Коваль сочинил такую памятку-плакат: “Отправляясь на тот свет, не забудьте выключить этот”. Это как раз про то самое, про “заплатить за телефон”.

Другой остроумный человек заметил, что Россия – страна, как известно, самая самобытная в мире – грядущий конец света встретит дважды: один раз вместе со всем миром, а чуть погодя, через тринадцать дней, мы будем иметь счастливую возможность отметить еще и Старый Конец света. Это, согласитесь, внушает некоторый оптимизм.

Конец света для людей религиозных категория вполне понятная. Это инвентаризация всего наличного состава людских душ и последующая их сортировка по тем или иным отсекам Вечности. Для человека секулярного это хороший повод подстегнуть собственное воображение. Конец света? Какого? Этого? А другой будет? А какой он будет? Лучше? Хуже?

“Скучно на этом свете, господа!” – горько воскликнул однажды великий Гоголь. А на каком весело?

Или вот только что мимо меня прошла средних лет, усталая и озабоченная дама, нервно говорившая в телефон: “Ты не можешь себе представить этот кошмар! Сначала одно, потом другое. Все им не так, все им не нравится. Никакие нервы не выдержат! Ты знаешь, я просто сама не знаю, на каком я свете живу!”

Она, видите ли, не знает. А кто знает, в конце-то концов?

Вот и нету великана

Ужас-ужас. Вечно мы, закрутившись с текущей общественно-политической хренью вроде всяких идиотских выборов-перевыборов, упускаем все самое главное и судьбоносное. Пока мы тут умничаем, благодушествуем и бранимся, как малые дети, от нас тихой сапой ушли тараканы. Ушли не попрощавшись. Их нет больше с нами. Они ушли, как сказал бы действующий российский президент, если бы его вдруг огорошили вопросом о причине исчезновения тараканов.

Почему ушли? Да бог их знает. Застигнутые врасплох ученые-экологи гадают на кофейной гуще и выдвигают несколько причин: “1. У тараканов, питающихся остатками с нашего стола, где появляется все больше генно-модифицированных продуктов, эти вещества вызвали изменения в генетике, и они вымерли. 2. Неблагоприятно сказались евроремонты с применением химии и неэкологичных материалов. 3. Виновата высокочастотная мобильная связь. 4. Нарушение озонового слоя сбilo их биологические ритмы”. И еще чего-то.

Все перечисленное, наверное, имеет место, спорить с наукой – мракобесие.

Но позволю себе высказать сомнение. Когда это тараканы боялись трудностей? Они выживали еще и не в таких условиях. Дихлофоса они не боялись, а каких-то евроремонтов и высокочастотных связей, которых и в глаза-то никто никогда видел, или какого-то там озонового слоя они, видите ли, испугались. Подумаешь, говна пирога. Мы-то живем, и ничего.

Тут другое. Мы им просто надоели. Надоели до смерти. Ведь сколько лет вместе! Лет двести как минимум. И вот тебе на! Они устали от нашей неблагодарности. От вечного нашего нытья и пессимизма. От дурного – чего уж греха таить – отношения к ним.

Я что, не помню, что ли, как в любой компании, собравшейся по случаю того или иного славного юбилея за пиршественным столом, разговор рано или поздно сползал на тараканов? Я что, не помню, как все делились друг с другом самими надежными способами избавления от наших рыжих домочадцев? Я не помню разве всех этих яростных ковровых зачисток с применением всех видов химического оружия? Помню. Со стыдом и раскаяньем.

Теперь, когда его нет с нами, с каким-то особым чувством томительной безысходности звучат и без того не чересчур веселые слова поэта:

Сто четыре инструмента

Рвут на части пациента.

От увечий и от ран

Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,

Его веки не дрожат.

Тут опомнились злодеи

И попятились назад.

Поздно опомнились. Поздно попятились. Они ушли. Что имеем, не храним. А потерявши – плачем.

Экологи говорят об экологической катастрофе. А я – о гуманитарной. Что будет теперь, когда живой и актуальный таракан, столько лет прослуживший одной из продуктивнейших мифологем и сюжетообразующим фактором нашего общего быта и бытия, переведен в разряд мамонтов и птеродактилей.

Этот ужас не первый на моей памяти. Эта безвозвратная энтомологическая потеря – не первая в бесчисленной череде потерь. Первыми ушли майские жуки. Те самые, которые летали и жужжали во дворах и скверах моего детства. Те самые, которых мы ловили, сажали в спичечные коробки, а потом втихаря засовывали за шиворот той или иной избраннице. Нежный и мелодичный девичий визг до сих пор звучит в моей благодарной памяти. Вспоминая о нем, мне до сих пор хочется зажать уши руками. Эх, было время...

Теперь вот тараканы.

Как жить без них? Что рассказывать детям? Мы же все вышли из “Тараканища”. Мы же все помним про таракана, попавшего “в стакан, полный мухоедства”.

Экологи занесут таракана в Красную книгу. А в книге под названием “Мировая культура” таракан поселился давно, прочно и навсегда.

А теперь он станет объектом бережной музеефикации, как, впрочем, и многие из нас, живых свидетелей живых тараканов. Вот предполагаемый диалог из недалекого уже будущего:

– Дедушка, ты честно видел живого таракана?

– Да, внучек, видел. И не одного. Давно это, правда, было.

- А таракан большой? Больше тебя?

- Нет, он маленький. Как ты.

- Деда, а динозавра ты тоже видел?

- Нет, динозавра видеть не приходилось, врать не буду.

Ученые бьют себя в грудь: “Тараканов надо вернуть, иначе может нарушиться пищевая цепочка и потреблять отходы человечества будет некому”. До каких же все-таки степеней эгоистично человечество! Значит, как их гнобить да травить, так мы первые. А как “потреблять отходы человечества”, так милости просим?

“А вот хрен вам! – скажет таракан. – Сами латайте теперь свою пищевую цепочку”. И ведь, признаемся, будет прав.

P. S.

На днях я спросил приятеля, до сих пор живущего в коммуналке и постоянно жалующегося на товарное количество рожденных ползать маленьких рыжих друзей, правда ли, что повсюду исчезли тараканы. В ответ на мой вопрос он как-то нехорошо хмыкнул и сказал: “Н-да? Не знаю, может, где-нибудь и исчезли...”

Так что, может быть, есть еще надежда?

Горячая линия

Я с детства и, признаюсь, до сих пор люблю такой почтенный и уютно старомодный жанр словесности, как заметки фенолога. Только нынче он куда-то совсем исчез. Видимо, ушли один за другим в иные пределы, где нет ни

болезней, ни воздыхания, ни, что самое ужасное, сезонных изменений, скромные и работающие узкие специалисты вроде тех, кто умел когда-то необычайно ловко и до ужаса жизнеподобно рисовать птичек-зверушек и лепестки-травинки для энциклопедий и учебников.

А в детстве я этих фенологов читал в товарных количествах в отрывных календарях или простодушных, слегка придурковатых изданиях наподобие “Работницы”.

Об этой своей детской любви я говорил и писал, и даже неоднократно. А повторяюсь я лишь по той причине, что вроде как сам вознамерился выступить в этом жанре, сознавая при этом совершеннейшую тщету подобных намерений. Да и как расскажешь об умирающих от жажды кустах, о траве цвета хаки, об обжигающем аравийском ветерке, если не владеешь утерянным навсегда искусством надежно клишированной сезонной лирики.

В общем, жарко, господа. Ужасно жарко. Вот, собственно, что я и хотел сказать, предварив это не слишком оригинальное соображение довольно громоздким и явно лишним предисловием.

Жара становится иногда главным информационным поводом. А такие идиоматические обороты, как “жаркая дискуссия” или “горячая линия”, стремительно теряют свою метафоричность.

Интересно еще, что разные информационные поводы при всех их несходстве и, скажем так, разноплановости обнаруживают непостижимую способность рифмоваться. Вот скажите, что может быть общего между жарой и недавним судебным сюжетом, связанным с современным искусством? Что общего между жарой и “возбуждением ненависти”? Казалось бы, если и есть какая-нибудь связь, то скорее обратная, ибо сезонные аномалии, как правило, сплачивают людей в общей беде. Моя жена вот буквально вчера видела, как в метро какая-то молодая девушка упала в обморок и как весь вагон дружно приводил ее в чувство.

Но не всегда так.

Вот идет, например, одна моя знакомая с электрички в сторону своей дачи. Одета она по погоде, то есть, скажем прямо, минимально. Ну, как большинство

из нас в эти дни. А рядом, видимо из той же электрички, идет тетка в длинном платье и в платке и с очень строгим лицом. С тем напряженным и подозрительным выражением лица, каковое в определенных кругах непостижимым для здравомыслящего человека образом ассоциируется с духовностью.

Идут они рядом пять минут, десять. Потом тетка вдруг произносит как бы в никуда: “Ад!” – “Да, – охотно поддерживает разговор моя знакомая, – адская жара. И, говорят, еще хуже будет”. – “Ад наступил, – продолжает тетка свою заветную мысль, – все голые ходят”. Знакомая благоразумно от продолжения темы уклонилась и продолжала движение молча. А тетка еще долго бормотала что-то про ад.

Про ад и рай представления, конечно же, у всех разные. Что и понятно: кто их видел-то, кроме Данте и Босха. Но как-то думается мне, что с людьми, для которых буквально адская жара – это вроде как не ад, а некоторая вольность внешнего вида – именно ад, причем кромешный, – с этими людьми не все в порядке. А их между тем очень много, и в некоторых местах нашей общей земной поверхности именно они устанавливают нормы, регулирующие общественные и частные представления о рае и аде, о добре и зле, о красоте и уродстве.

А нам что остается? А нам остается упорно и вместе с тем весело сопротивляться аду, явленному не столько даже кромешным зноем, который все-таки пройдет рано или поздно, сколько неизбывной человеческой глупостью.

Ну вот, я же предупреждал, что никаких заметок фенолога у меня не выйдет. Да и откуда – там никакого ада никогда не было. Там всегда только один сплошной рай, хотя бы потому, что в этих заметках было все, что угодно, – зверушки да птички, листочки да цветочки, пестики да тычинки, дождички да сосульки, ручейки да сугробы. Много чего там было. А людей там не было. А без них какой ад?

Модернизированная магия

Наша история – это не череда сменяющих друг друга идей. Это лишь “смена веж”, то есть смена авторитетной лексики и фразеологии, взятой на вооружение – иногда не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова – очередной властной, как бы это сказали в наши дни, элитой.

Многие сетуют: проблема нынешней власти прежде всего в отсутствии артикулированной идеологии.

А идеологии никогда и не было. Просто теперь это слишком хорошо заметно.

Во все времена страна управлялась лишь с помощью магии и присущих этой магии ключевых слов и словосочетаний. Когда эти мантры (сейчас бы сказали – слоганы) от чрезмерной эксплуатации протирались до очевидных прорех, приходили на смену другие, импортированные, как правило, из философских краев, но с помощью нехитрых усовершенствований приспособленные к местному бездорожью и туго надутые специфической духовностью здешних мест, духовностью, сообщающей мудреному заморскому диву необыкновенную легкость.

Нутряная потребность в царе-батюшке никогда не исчезала вовсе. Просто время от времени она властно требовала радикального терминологического обновления. Царизм пал оттого, что никак не мог избавиться от “самодержавия-православия-народности”. Все было сказано правильно: низы не хотели слушать старый язык, а верхи не могли заговорить на новом. На новом языке заговорили большевики. Вот и случилась революция, вследствие стремительных и бурных риторических мутаций давшая народу до сих пор горячо любимого товарища Сталина, успешно – в полном соответствии с глубинными народными чаяниями – исполнившего роль “отца”. В данном случае – отца народов. Он пробудил к новой жизни всю мощную и вечно актуальную темную архаику, временно, хотя и бурно припорошенную буквальным, наивным пониманием “мировой революции”, “братства народов” и “светлого будущего всего человечества”. Поэтому он и был, и остается – безо всякой иронии, безо всяких кавычек и в соответствии с нынешней терминологией – эффективным менеджером. Так что не извольте сомневаться, что в словаре синонимов современной российской политмагии “эффективный менеджер” (соврем.) является наиболее близким синонимом “великого гения всех времен и народов” (устар.). В двадцатом бурном веке и смена магических тезаурусов происходила довольно бурно. После “отца народов” появились безликие “партия и правительство”, в моем кругу обозначаемые аббревиатурой “ПиП”. Когда ПиП вместе со всеми своими

“построениями коммунизмов”, “продовольственными программами”, “ленинскими миролюбивыми политиками” и “развитыми социализмами” стали вызывать приступы неконтролируемого хохота у всех, включая и самих колдунов, тогда и появились “ускорение”, “перестройка” и прочая “гласность”. Ну а дальше пошло-поехало. Одни слова сменить другие спешат, не дав ни минутки не только на то, чтобы их обдумать, но даже и запомнить.

А публика? А что публика? Произнесет какой-нибудь с высокого телеэкрана магическое слово “модернизация”, а уже легковозбудимая медийно-аналитическая общественность сидит и, перебивая друг дружку, гадают: будут пороть, не будут пороть. А другие, чуть менее нервные, все пытаются угадать, откуда и в какую сторону в этот раз понесут мимо них мешки с баблом. А вдруг чего по дороге просыплется, гадают более оборотистые. Хорошо бы оказаться неподалеку. Но и не слишком близко – на всякий случай.

Оно и правильно: ни в коем случае не надо пытаться задумываться над значениями произносимых ими слов. Суть и эффект магии не в значении слова и не в связях его с другими словами, а в самом его звучании, в интонации, в лицевой пластике произносящего, в ритме и частоте его повторений.

Любая магическая практика требует инструментального обновления. Иначе она перестает быть актуально действующей и превращается в лучшем случае в сырье для искусства, то есть для культурной канализации.

Любая магия такова. Кроме самой древней и, думается, наиболее по сей день актуальной, составлявшей и составляющей серьезную конкуренцию магии официальной. Недаром же во все времена эта магия, вечно живая и бесперебойно действующая, подвергалась столь яростным нападкам и запретам со стороны бдительных охранников госдуховности – хоть в рясах, хоть с учительскими указками, хоть в погонах, хоть в том, другом и третьем одновременно.

Но эта магия живет и побеждает. И она переживет все. И “модернизацию” тоже.

Вот скажи-ка, читатель, скажи честно, какие слова ты произнесешь ясно, отчетливо и страстно, если прямо перед твоим носом шмякнется сосулька размером в твой рост? Неужели ты скажешь: “Да, друзья, есть еще слабые места в развитии отечественных нанотехнологий”? Что-то не верится мне в это, если

честно. Что-то мне подсказывает, что ты скажешь нечто совсем другое. Можешь не отвечать, что именно. Я и сам знаю.

Вид из окна

Я уже и говорил, и писал, что считаю себя исключительно благодарным путешественником. Мне нравятся все места, где я бываю.

Я знаю, что есть и другие люди, по-моему не очень счастливые. Они, как правило, придирчиво смотрят скептическим глазом на все, что отличается от привычных им среды и атмосферы. Все, что они видят, слышат, нюхают, едят и пьют, им кажется подозрительным и недружелюбным. Иногда такие люди называют себя патриотами.

А еще бывают люди, редко где бывающие, но обо всем все знающие достоверно и судящие безапелляционно и строго. Это совсем отдельный случай.

Я вот только что съездил в город Львов, в котором бывал и прежде и который очень люблю. Даже и не вполне знаю за что. Красота, конечно же. Но не только: красивых городов я видел в избытке. Но, гуляя по Львову, я все время ловлю себя на пробуждении какой-то едва ли не генетической памяти. Возможно, эту самую память я и выдумываю, ибо знаю, что мои предки по материнской линии из тех мест. Так или иначе, но эта, совсем до поры до времени чужая и даже экзотическая, городская среда кажется мне родной и близкой. Мне все время казалось, что я родился и вырос в этом городе, хотя я точно знаю, что родился и вырос в Москве. Кстати, подобное ощущение я испытываю не только в Львове, но и в Вене, и в Варшаве, и в Вильнюсе. Я так и вижу, как мимо меня толпой шествуют мои далекие предки – в черных шляпах, долгополых сюртуках, длинных юбках и платках.

Когда я вернулся в Москву, знакомая дама, вполне образованная, узнав, что я только что из Львова, не преминула спросить: “А это правда, что в Львове за русскую речь можно схлопотать по физиономии? Туда вообще не страшно ездить?” Опечалившись, что ходячие предрассудки прорастают в мозгах даже и вполне разумных людей, я ответил, может быть, даже излишне резко. Я просто сказал: “А ты съезди да посмотри”. – “То есть все это глупости?” – облегченно

спросила она. “Да еще какие!” – сказал я.

Я, конечно, не стал ей говорить, что по роже в принципе можно получить где угодно – хоть за русскую речь, хоть за нерусскую. Причем на родине, в пространстве бытования родного языка, вероятность эта, пожалуй, повыше будет, чем в том же Львове. Но можно, видимо, и в Львове – почему нет. От вероятности столкнуться на жизненном пути с агрессивным жлобьем не может застраховать никто. И я слышал рассказы о том, как кому-то где-то отказались что-то продать или показать куда-то дорогу. Насчет того, чтобы “по физиономии”, мне, правда, слышать не пришлось. Но и это теоретически возможно.

А вот мне, так уж получилось, буквально ни разу не приходилось натолкнуться даже на самые легкие дуновения недоброжелательства со стороны “хозяев” тех городов, где мне приходилось бывать. Возможно, это какое-то особое везение. А может быть, дело в том, что я повсюду ощущаю себя благодарным, как это было заявлено вначале, гостем, который считает правильным и ничуть не обременительным для чувства собственного достоинства при каждом удобном случае давать понять хозяевам, как в их доме уютно, как вкусно их угощение и какой чудесный у них вид из окна. Даже в том случае, если окна выходят на мусорные контейнеры. Не очень искренне? Возможно. Возможно, более искренний человек скажет, что квартира у хозяев тесная, что дети у них невоспитанные, а курицу они пересушили. А уж вид из окна...

Кстати, о виде из окна и о том, как бывает трудно угодить людям, ждущим повсюду подвоха. Один мой знакомый как-то жаловался мне на свою тещу – ну, сюжет вполне классический. Так вот, однажды по просьбе этой самой тещи он занялся обменом ее квартиры, неудобной и ужасно шумной, на другую, более приемлемую. Главным тещиным требованием был пресловутый вид из окна – чтобы обязательно зелено и, главное, тихо.

Он долго искал и смотрел разные квартиры. Наконец-то нашел, чтобы зелено и тихо. Причем он нашел то, что не просто тихо, а даже очень тихо. Привез тещу посмотреть. Приехали. Квартира теще понравилась: все расположено удобно и рационально. Этаж невысокий. Так что, если сломается лифт, ничего страшного. Кухня небольшая, но вполне.

Пошли смотреть вид из окна. Посмотрели. Теща взглянула на зятя и сказала: “Ты что, издеваешься? Ты на что, собственно, намекаешь?” Дело в том, что окно

выходило на кладбище.

Против естественного

Хотите узнать, какое было мое самое первое впечатление от города Хельсинки, куда я в далеком уже 1989 году приехал на поезде с чудесным названием “Лев Толстой”?

Вот какое оно было. Поезд подъехал к перрону поздним утром – около одиннадцати, если я правильно помню. В окне я увидел лицо своего финского приятеля и переводчика. Лицо это выражало жадное недоумение и было направлено вовсе не в сторону моего вагонного окошка, откуда я энергично, хотя и тщетно посылал ему приветственные знаки. Нет, лицо его напряженно глядело в совсем другую сторону, где и поезда-то никакого не было. Я вышел из вагона и сразу же увидел то, от чего никак не мог отвести очарованного и бесконечно изумленного взора мой приятель. Прямо посреди перрона сидела на корточках не очень уже молодая грузная тетка и, подобрав свою пышную юбку, производила довольно бурный процесс мочеиспускания. Завершив таким образом свой утренний туалет, тетка поднялась, поправила юбку и невозмутимо пошла восвояси, кокетливо поигрывая сумочкой.

Тут мой друг наконец-то заметил и мою смятенную фигуру. Торопливо поздоровавшись, я спросил: “А это... как его... это у вас так принято, что ли?” – “До сих пор мне казалось, что нет, не принято. Во всяком случае, за сорок лет я это увидел впервые”. Я, впрочем, тоже на протяжении этого, а также и всех последующих визитов в Финляндию ничего даже отдаленно похожего на описанный эксцесс не наблюдал. Более того, именно эта страна остается в моей памяти как место необычайной чистоты, повышенной опрятности и душевного спокойствия. Но как велико, согласитесь, искушение составить общее мнение о стране под воздействием первого, особенно столь яркого впечатления. Вот как тут не соблазниться и не соорудить в своей картине мира устойчивый образ Финляндии как страны, где все писают где ни попадя. “Финляндия – культурная страна? Ха, не смешите! Я сам видел, как люди ссут прямо на перроне”.

Или вот город Цюрих, один из самых спокойных городов мира, где в первый же день я чуть не угодил под трамвай, а во второй умудрился стать свидетелем

довольно-таки жесткой драки между двумя приличного вида взрослыми мужчинами, вышедшими из супермаркета. Драка, впрочем, продолжалась недолго, потому что к месту происшествия минуты через полторы подъехала полицейская машина. Ага, понятно: Швейцария – страна распущенных и агрессивных людей, привыкших любые проблемы решать с помощью кулаков. Не верите? Да я сам видел!

Для человека социально ущемленного, к тому же выросшего и сформировавшегося в вольере, подобные впечатления служат не досадным или забавным штрихом, свидетельствующим о том, что мир вовсе не обязан полностью соответствовать нашим устойчивым представлениям о нем. Для такого человека подобные впечатления служат лишь сладостными подтверждениями того, что не один он такой. Что повсюду то же самое. Что “весь мир бардак, все люди бляди”.

Это понятно: родившемуся в зоопарке тюленю трудно, практически невозможно объяснить, что есть на свете тюлени, плавающие в океане. И что вообще бывает на свете океан. И что не все в этом океане, как ни странно, гладко. “Да ладно, знаем мы этот океан, – говорит вольерный тюлень, – миф и пропаганда. Там небось и клеток-то нет. И харчи небось самим надо добывать”.

Различные фобии, принимающие форму устойчивых суеверий и предрассудков, вообще изначально присущи человеческой природе. Они возникают раньше, чем аналитическая способность их корректировать и обуздывать. Они приходят раньше, чем чувственный, социальный и интеллектуальный опыт. Фобии, увы, естественны. Но, как мы узнаем в процессе взросления, не все естественное должно становиться ведущим мотивом социального поведения. Нутряной древний страх перед огнем тоже естествен. Но посидеть со стаканом глинтвейна у жарко растопленного камина... Но задремать под уютное потрескивание березовых поленьев... Ну, в общем, понятно.

Скверный анекдот

Я не очень люблю этот разухабистый праздник. Может быть, дело в том, что я всегда был очень уж доверчив, очень уж был “обманываться рад”. А сам фатально не умел чего-нибудь этакое выдумать, как ни старался.

А ведь были неутомимые выдумщики. И, главное, вполне успешные. Однажды, например, мой школьный приятель, а в то время – консерваторский студент собрал немалое число людей на довольно отдаленной подмосковной станции, где в местном клубе якобы должен был состояться полуподпольный просмотр кинофильма “Восемь с половиной”. Те, кто хоть чуть-чуть представляет себе жизнь и нравы интеллигентного горожанина конца 1960-х годов, поймут, о чем речь.

Надо ли уточнять, что сам он туда не приехал – что он, дурак, что ли.

Тщетно прождав его минут сорок и основательно продрогнув на весеннем ветру, мы принялись недоумевать: Мишка же ответственный и обязательный человек, не случилось ли чего. Но когда кто-то из наиболее проницательных осторожно поинтересовался, какое сегодня число, все сразу все поняли.

Сначала все, перебивая друг друга, со вполне объяснимой душевной теплотой высказались в адрес первоапрельского шутника. Потом, поостыв и пораскинув мозгами, отправились в пристанционный магазинчик, где закупились некоторым количеством соответствовавших моменту напитков и в результате совсем неплохо провели время в электричке, умчавшей нас обратно в Москву. И даже, помнится, расчувствовавшись, выпили и за здоровье виновника нашего импровизированного торжества.

Но такое бывало редко. Все больше глупости какие-то.

В этот день любят отмечаться и средства массовой информации, сообщающие что-нибудь вроде того, что на обратной стороне Луны обнаружен окаменевший скелет семиметрового примата или что девятнадцатилетняя норвежская принцесса Брунгильда торжественно объявила о своей помолвке со вдовым штукатуром, уроженцем города Тернополя, временно зарегистрированным в подмосковном городе Электроугли, куда принцесса заезжала на пару дней по делам защиты фиолетовых моржей от их массового истребления в Охотском море.

В Европе этот день принято называть Днем дураков. Но можно еще сказать, что это и День обманщиков и врунов. То есть этот день как бы карнавально легитимирует то несомненное и довольно печальное обстоятельство, что общество так или иначе делится на две неравные части – тех, кто вешает лапшу,

и тех, кто с готовностью подставляет собственные уши.

А еще это профессиональный праздник весельчаков и юмористов. С одной стороны, живя в нашей стране, нельзя не шутить, так как лишь это одно спасает от бездонного экзистенциального отчаяния. С другой стороны – шутить всегда опасно. И не только в том смысле, что это опасно для жизни и здоровья самого шутника. Это опасно еще и тем, что любая шутка обладает удивительной способностью становиться грубой реальностью.

Я помню, например, как незадолго до одной из президентских кампаний мы с друзьями-коллегам сидели перед телевизором и лицезрели классическую сказочную советскую ткачиху, умолявшую Путина (от имени народа, разумеется) не бросать народ в такую трудную для страны минуту, не покидать своего бессонного поста, не выпускать из натруженных рук весел галерного раба. “Эх, ее бы в парламент”, – печально пошутил кто-то. И вот, пожалуйста. Нет, не надо шутить.

Наша общественная жизнь за последние сколько-то лет и без того превратилась в один сплошной анекдот, радостная, освобождающая концовка которого не видна даже на горизонте.

Анекдот – вещь хорошая. Особенно если этот анекдот смешной. Но, во-первых, наш российский скверный анекдот становится все менее и менее забавным. Во-вторых, существовать долго в пространстве нескончаемого анекдота довольно-таки мучительно.

Анекдот вообще-то хорош прежде всего тем, что он существует на фоне всеми признанной нормы. Он потому и анекдот, что выявляет в нашей текущей жизни анекдотические черты. Но когда анекдот и жизнь становятся неотличимыми друг от друга, дело пахнет семиотической катастрофой.

Какое уж тут Первое апреля!

Сбыт мечты

Я вот все думаю: что же мне все это так напоминает? Читал ли я об этом когда-то? Слышал ли? Видел ли в кино?

Именно! И читал, и слышал, и видел. Весь этот нынешний чекистско-приблатненный гопнический капитализм был придуман давно, в глубокие еще советские годы. Он был придуман советским агитпропом для описания капитализма западного, настоящего.

Придуманный, сконструированный советским агитпропом западный капитализм никакого отношения к реальному Западу, конечно же, не имел, а если и имел, то весьма косвенное. Но он прочно поселился в сердцах и головах нескольких поколений советских людей.

Я думаю, что младокомсомольцы и младочекисты поздних советских лет, когда уже “развитой социализм” прокис и протух настолько, что от него и его прелестей стали воротить нос даже они сами, тайно мечтали о капитализме – не о том, который реально существовал и существует в современных развитых демократиях, а об этом самом, агитпроповском, которым стращали несколько поколений строителей коммунизма.

Они мечтали о том самом капитализме:

– где человек человеку волк;

– где всем правит чистоган;

– где все покупается и продается;

– где действует лишь логика денежного мешка;

– где в дыму и копоти утопают города контрастов и желтых дьяволов;

– где нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно;

– где дети рождаются в мусорных ящиках, бедняки стоят у обшарпанных стен с табличками “согласен на любую работу”, а пузатые набриолиненные богатеи с зубастыми красотками в норковых шубах под вспышки пронырливых папарацци

упаковываются в сверкающие лимузины;

- где в газетных реках вальяжно плавают жадные до наживы и циничные акулы пера;

- где полиция машет дубинками направо и налево, отоваривая кого попало по ребрам и головам;

- где хищные чиновники вымогают взятки даже с вдов и сирот;

- где ястребы в фуражках с гербами и золотых погонах бряцают оружием, пугая мирных беззащитных соседей;

- где правильные белые пацаны в широкополых шляпах и с сигарами в крепких зубах ставят на место зарвавшихся и много об себе понимающих потомков дяди Тома;

- где повсюду красуются плакаты с надписью “только для белых”;

- где “там замучили студента, там убили президента”;

- где Мистеру Твистеру удалось-таки всеми правдами и неправдами купить дом над Невою;

- где Синьор Помидор окончательно одолел беспонтового Чиполлино;

- где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фрак.

Им на излете перезревшего социализма смертельно обрыдло быть кибальчишами с не очень удачной карьерой. А куда как круче, решили они, побыть уже наконец-то нормальными плохишами с корзиной печенья и бочкой варенья в загребущих руках.

Они мечтали именно о таком капитализме, придуманном в коллективной башке агитпропа. Только, чур, чтобы устрицы, айфоны и кредитные карты были настоящие, не сказочные.

Они так много лет сочиняли для населения сказки про “пресловутую западную демократию” и “так называемый свободный мир”, что постепенно и сами стали верить в свои вдохновенные бредни. И мало того что верить. Они стали сначала подспудно, а потом все отчетливее стремиться посетить сей мир, обжиться в нем и его оседлать.

Рисую и изобретая чужой “ад”, противопоставленный их коммунистическому раю, они дали волю подсознанию, они изобрели именно свой тайный рай – такой, какой только и мог родиться в их небогатых мозгах.

И вот они построили этот самый капитализм – нормальный, загнивающий. С монополиями и эксплуатацией человека человеком. Как учили.

И ИХ капитализм получается ровно таким же, каким был ИХ социализм, то есть тупым, жестоким, тошнотворно бездарным, демонстративно бесчеловечным. То есть сталинским. Можно было бы добавить – карикатурным, если бы он, как карикатура, существовал только на бумаге и если бы гротескные карикатурные линии не становились иногда кровоточащими шрамами на живых человеческих судьбах.

Метафорам, как известно, время от времени свойственно реализовываться, а снам разума, рождающим известно что, свойственно иногда сбываться. И вот.

А нам soronoo

В наши дни довольно много и более или менее справедливо говорят о том, что мы живем в постидеологическую эпоху. О том, что это и плохо, и хорошо одновременно. О том, что идеологический вакуум может привести к катастрофе, а может, напротив, помочь избежать катастрофы, к какой неизбежно привела бы сильная и ложная идея, овладевшая массами, как это бывало в прошедшем веке. Говорят, что на том месте, где была когда-то идеология, осталась одна, но

пламенная страсть, имя которой – деньги. И ничего, кроме них.

Мне думается, что есть все же некая национальная идеология, властно, уверенно и уже довольно давно овладевшая если не всем населением, то критической его массой. Эта идеология пагубна или спасительна в зависимости от исторических, социальных, личных и прочих обстоятельств. Она не то чтобы владеет умами, но она лежит в основе поведенческих реакций, поступков и жизненных концепций. Имя ей...

На этом интересном месте я прервусь ради небольшого отступления.

Широко известно, что наш с вами родной язык во все времена подпитывался, обогащался и засорялся заимствованной лексикой и фразеологией. Многие понятия, пришедшие в наш обиход из прочих языков, подчас обрусевали настолько, что начисто забывали о своих исходных значениях. Иногда меняли их на противоположные. Недавно, например, г-н министр внутренних дел сообщил нам о том, что явление со звучным и пышным названием “коррупция” начисто исчезло из нашей жизни. Поэтому знайте, сограждане: если у вас вымогают взятку, то это не коррупция, это что-то другое, имеющее до боли знакомые очертания, но до поры до времени лишенное имени.

Но не только наш язык впитывает чужие слова. Иногда и наши слова конвертируются в международный контекст, чем можно гордиться, но можно и печалиться в зависимости от того, что это за слова.

Bistro, sputnik, glasnost, samovar, kazak и dacha – это ничего еще. А вот с широко известным в мире словом rogrom дело обстоит куда грустнее.

Это примеры известные. А есть вещи малоизвестные. Вот, например, знакомый финский славист говорил мне, что в финском языке существует такое просторечное словечко, как soronoo, которое восходит к русскому “все равно” и означает примерно то же самое. Но никто, кроме специалистов, об этом не догадывается, как, кстати, и многие современные немцы страшно удивляются, узнав, что злое слово rogrom является заимствованным.

Или вот. Мой старинный таллинский приятель рассказал мне такую довольно забавную историю. Зная некоторую склонность этого моего приятеля к, мягко говоря, преувеличениям, степень достоверности этой истории я оставляю на его

совести. Но, как говорят финны, *soropoos*.

Приятель этот, хотя и вырос в русскоязычной семье и закончил русскую школу, эстонским все же владеет неплохо. И вот сколько-то лет тому назад, когда эстонская независимость была еще в своей героической поре, он сидел у телевизора и заинтересованно наблюдал за бурными парламентскими дебатами. Выступал там в числе прочих и некий молодой и энергичный политик. Он говорил ярко, темпераментно и довольно жестко. Впрочем, одно слово, причем повторенное неоднократно, мой приятель все понять не мог – совсем незнакомым было это слово. Оно не давало ему покоя особенно потому, что при его очередном произнесении зал заметно оживлялся. Из контекста было примерно понятно, что это слово означало что-то вроде “индифферентность”. Что-то вроде социальной апатии, равнодушия и “моей хаты с краю”. Заинтригованный, он полез уже было за словарем, но на него снизошло внезапное счастливое озарение. Он буквально хлопнул себя по лбу и радостно рассмеялся. И было от чего, потому что незнакомое эстонское слово звучало как *rohuism*.

Но что-то мы, читатель, увлеклись нашим отступлением. На чем мы там остановились, не помните?

“Ребята, вы чего делаете?”

Ну слава богу, высказались некоторые из моих соотечественников. И не из последних, а из тех, кто и по своей социальной функции, и по самоощущению призван олицетворять ум, честь и совесть нашего и без того высоконравственного общества. Молодцы, не промолчали, не спасовали перед грозным вызовом стихии, обрушившей свою смертоносную мощь на Японские острова.

Вообще-то все понятно. И каждому человеку в отдельности, и целым народам при соприкосновении с чужой бедой свойственны два сильных чувства: сострадание и стремление прийти на помощь – и в то же время тайная, постыдная радость, что все это приключилось не с тобой и не с твоими родными. Дело лишь в том, какое из этих сильных чувств сильнее, какой из рефлексов расположен ближе к поверхности, какой из них проявит себя в первую очередь,

а какой будет загнан поглубже, в тайники подсознания.

Прожив всю жизнь в своей стране, я привык к тому, что на уровне рефлекса стремление обмануть, как правило, первичнее, чем стремление сказать правду, и, как следствие, подозрительность первичнее, чем доверчивость. Лишь когда я стал выезжать за пределы необъятной родины, я заметил, что в глазах, например, полицейского ты по умолчанию являешься законопослушным гражданином и лишь по своим поступкам можешь быть переквалифицирован в реального или потенциального правонарушителя.

Сначала на страницах общенациональной газеты высказалась экзальтированная медийная барышня, выразившая в связи с потрясшей весь мир японской бедой совершенно не прощенный, но при этом безудержный восторг по поводу того, как же все-таки Бог любит Россию, что обходит ее стороной со своими небесными и тем более подземными карами. Тут, кстати, трудно не согласиться. Бог действительно обходит Россию стороной. И не только в этом смысле. И грозной стихии действительно нет никакой нужды вмешиваться в процесс массового истребления людей, когда с этой задачей всегда неплохо справлялось государство. А землетрясения, извержения вулканов и цунами для России и правда не слишком характерны, тут не поспоришь.

Не то чтобы эта барышня не посочувствовала несчастным соседям. Конечно, не зверь же она какой. Посочувствовала примерно в таком роде, как одна соседка другой по поводу смерти мужа: “Я, Марья Николавна, глубоко соболезную вашему горю, но знаете, какое дело... Ваш муж две недели назад занял у нас четырнадцать рублей... Нет-нет, не срочно, можно и завтра”.

Сказало свое веское слово и духовное лицо, чье благочестие поднялось до таких высот, что оно окончательно поверило в сглаз, в порчу, в черную кошку, в пустое ведро и в то, что за любой аббревиатурой прячется сам черт с рогами и хвостом. Лицо это сообщило нам, что “практически все русские люди в один голос, не сговариваясь, утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества”. И дело даже не в том, что такое произносится служителем церкви. К этому мы уже как-то привыкли. А вот оскорблять “практически всех русских людей”, которые “в один голос”, – это уже, пожалуй, слишком. Я в эти дни разговаривал с довольно немалым числом русских людей и что-то ничего подобного “в один голос” не слышал. Не повезло, наверное. Не на тех, видимо, напал.

Ну и не могло обойтись без дважды утомленного солнцем главного режиссера суверенно-демократического государства, у которого на том месте, где водился когда-то несомненный артистический дар, давно уже выросла огромная мигалка. И он не прочь призвать в союзники самого Всевышнего и не своими, а именно Его словами обратиться к неразумному японскому народу с увещеваниями. “Ребята, вы чего делаете?” – как бы говорит как бы Господь устами Своего любимца Никиты. После чего, понятное дело, Господь “посылает бедным японцам девятибалльное землетрясение с цунами”. А вы как думали.

Так или иначе, но во всех этих высокодуховных реакциях на чужое несчастье властно звучит тема Божьей кары, наказания за грехи. Ну что ж, в контексте религиозного сознания действительно невзгоды принято рассматривать в категориях греха и искупления. И верующий человек действительно склонен рассматривать любую беду как наказание за грехи или испытание. Но только по-настоящему верующий так относится именно к СВОИМ несчастьям, а не к чужим. А такие, как эти, если что-то, не дай бог, случится с ними, первым делом закричат: “А меня-то за что?!” А вот если у соседа загорится сарай, они назидательно скажут: “Бог наказал. Не хрена было своих кур на мой огород пущать”.

Да и вообще давно известно, что если Бог хочет кого наказать по-крупному, то он не насылает на него землетрясений и наводнений. Зачем? Это не наказания. Это всего лишь испытания, которые одних пригибают к земле, а другим дают шанс проявить все лучшее, что в них есть. А вот наказание – это когда тебя лишают рассудка, совести, вкуса и нравственного инстинкта.

Мыть или менять

Был у меня когда-то давно, в студенческие годы, приятель, не очень долговременный, но ярко запомнившийся. Он был добрый малый, в дружбе и в быту необычайно легкий, уступчивый и вообще комфортный. Единственным обстоятельством, эту самую комфортность существенно колебавшим, было какое-то абсолютное, химически чистое отсутствие чувства юмора. Шутить или каламбурить в его присутствии было делом заведомо провальным.

Зато у него была другая яркая черта: он был неутомимым мечтателем. Мечтательность его была какого-то особого рода. Он постоянно задавался какими-то, всякий раз неожиданными и бесконечно далекими от практической насущности вопросами. Этими удивительными вопросами он непременно делился с теми, кто оказывался рядом.

Вот, допустим, едем мы с ним посреди московской зимы в холодном автобусе с заледеневшими окнами, а я вижу по его глазам, что в его голове происходит важная работа и что там прямо на моих глазах зарождается один из вечных вопросов непостижимого бытия. Наконец он говорит: “Как ты думаешь, если бы комар был размером с корову, что было бы?” Вот откуда, скажите, мог взяться этот вопрос в московском зимнем автобусе при полном отсутствии как коровы, так и комара в сколько-нибудь обозримых пространстве и времени? Я честно и определенно сказал, что не знаю, потому что действительно не знал. Потому что в подобных обстоятельствах я не находил в себе ни малейших ресурсов, позволивших бы запустить механизм воображения.

В другой раз, но уже в троллейбусе, он вдруг хмыкнул и сказал: “Интересная вещь! Вот мы едем сейчас в сорок первом троллейбусе, а у меня как раз сорок первый размер обуви. Правда, забавно?” – “Ага, забавно”, – безвольно согласился я. Он вообще умел подавлять волю собеседника мощным напором своего сюрреалистического воображения.

А вопросы относительно того, как вели бы себя стулья и табуретки, если бы они были живыми существами, то есть сбрасывали бы они седоков или стояли смиренно, даже и не предполагали ответа, а лишь вызывали встречные, неизбежно тревожные вопросы, которые по понятным причинам оставались несформулированными, по крайней мере вслух.

А еще он однажды спросил: “Как тебе кажется, что лучше: мыть ноги и не менять носки или менять носки и не мыть ноги?” Ну как ответишь на столь категорично поставленный вопрос?

Об этом своем давнем приятеле я недавно вспомнил лишь потому, что в памяти всплыл его незабываемый и, в сущности, неразрешимый вопрос про носки и ноги. А всплыл он потому, что в последнее время я постоянно натываюсь на оживленные дискуссии о том, какой все-таки из режимов предпочтительнее – нынешний или советский. Когда было лучше – тогда или теперь? Дискуссии эти бывают довольно бурными, с привлечением исторических справок и множества

авторитетных цитат. Одни говорят, что, конечно, тогда было то-то и то-то, но зато было и вот такое. А теперь, конечно, вот такого нет, но зато есть вот это. Поэтому, разумеется, уж лучше это, чем то. Нет, говорят другие, то, конечно, было не сахар, но уж получше, чем это. Да чем же это получше, кипятятся первые, если такого-то совсем не было, а теперь все-таки есть, хотя, если задуматься, может вскорости и не быть.

Вот и мы о том же, торжествуют вторые. Хотя и не слишком уверенно. И дискуссия продолжается.

И будет она продолжаться до тех пор, пока ее участники не задумаются над задачей, поставленной однажды моим мечтательным приятелем и до сих пор не нашедшей ответа.

Пусенька, зачем?

Есть такая группа художников, проходящих по ведомству уличного искусства, которые на глухих стенах домов и бетонных заборах строительных площадок оставляют таинственные надписи. Самая распространенная – это короткое, но необычайно насыщенное интерпретационными возможностями слово “зачем”. Даже, кажется, и без вопросительного знака. Просто – “зачем”.

Это убийственное в своей заведомо выигрышной позиции “зачем” вполне достойно занять свое законное место в ряду самых знаменитых русских вопросов “Что делать?” и “Кто виноват?”. Вопрос “зачем” вечен, как “Экклезиаст”. Все суета сует и всяческая, как известно, суета.

Вопрос “зачем” звучит постоянно и всегда ставит в тупик. Ну ведь и правда – зачем?

Вот, например, ведутся жаркие и не всегда мирные споры про гей-парад и его жесткий разгон. “Нет, а зачем они это делают? – кипятится вполне разумный и вполне либерального умонастроения собеседник. – Они же знают, что это очень многих раздражает”. – “А ты уверен, – говорю я ему, – что твоя красная футболка никого не раздражает? Я не сомневаюсь, что кого-то она страшно бесит. Зачем

ты ее носишь? Мог бы и поскромнее одеться. Когда ты в семидесятые годы носил хаер до плеч, это никого не раздражало? Ну-ка вспомни. А твоя нерусская фамилия никого не раздражает? Как тебе кажется? Может быть, сменишь ее на какую-нибудь более конвенциональную? Да и небольшая пластическая операция тебе, я думаю, не помешает”. – “Не надо утрировать, – говорит он. – Это другое дело”. Почему другое? Почему это я утрирую?

Ненависть – иррациональная и темная – первичнее, чем ее объект. Она не порождается предметом раздражения. Она им только провоцируется. Предмет найдется – была бы ненависть. А она всегда наготове. Объектами ненависти в разные времена были то раскольники, то инородцы, то “буржуи”, то попы и монахи, то опять инородцы, то стилиаги, то хиппи, то панки, то Америка, то мусульмане, то опять же инородцы. Теперь вот одной из болевых точек на теле общества оказались геи и их проблемы – совсем, между прочим, не надуманные.

“Зачем ты носишь нательный крестик? Ты же знаешь, как у нас к этому относятся”. Так в середине 1970-х годов увещевала моего друга его любящая мама. “Знаю, – отвечал он, – именно поэтому я его и ношу”.

“Зачем же ты написал в своей анкете, что ты еврей? – говорили другому моему другу заботливые люди. – У тебя же русский отец. Записался бы русским. Ты же знаешь...” – “Знаю, – отвечал мой другой друг, – именно поэтому и написал”.

Усмирение ненависти посредством устранения ее объектов, реальных или мнимых, актуальных или потенциальных, мне кажется самой неправильной и трусливой стратегией. Ненависть этим не изведешь. Она всего лишь переключится на новый объект.

“А зачем эти люди пишут письма и заявления? – говорит умудренный жизнью скептик. – Они что, не понимают, что ничего изменить они не могут?”

За всех говорить не берусь, но думаю, что многие это прекрасно понимают. Я, во всяком случае, подписывая время от времени разные протестные документы, ничуть на этот счет не обольщаюсь. Но на вопрос “зачем” ответ у меня есть. Затем я это делаю, чтобы просто сообщить вслух о своем несогласии считать себя тем бессловесным и согласным на все быдлом, каким меня представляют себе те, к кому этот протест относится. Не так это мало, как может показаться.

Мой товарищ, человек необычайно наблюдательный, рассказал мне недавно о своей чудесной находке. Пошел он на кладбище навестить могилу родителей. Недалеко от этой могилы он обнаружил новый памятник. Памятник как памятник. Обратил он внимание на эпитафию, поразившую его предельными лаконизмом и эллиптичностью, с каковыми была выражена вся бездонная глубина чьего-то экзистенциального отчаяния. Там было написано: “Пусенька! Зачем?”

И правда, зачем?

Империя хни

Как только до меня дошла благая весть о грядущем втором пришествии, я сделал короткую запись в Фейсбуке. “Ну что же, друзья, – написал я. – Со старым новым гадом вас. Вроде бы никакая ни разу не сенсация, но с отчетливым вкусом хозяйственного мыла во рту, что делать?”

Да, примерно такой вкус ощутил я, нырнув в телевизор и вдруг увидев во всей своей первозданной красе XXIV съезд КПСС – с теми же президиумами, с теми же овациями и вставаниями, с теми же умильными и торжественными “партхозактивными” выражениями лиц. “Откуда эти лица? – думал я. – Это совсем вроде бы другое поколение?” Нет, дело не в поколениях, а в той токсичной общественной атмосфере, где только и могут плодиться и размножаться эти мутанты.

Я занимаюсь искусством, а потому все, что касается формы и стиля, для меня не менее содержательно, чем то, что принято называть содержанием. То, что происходило, и, главное, ТАК, как оно происходило, человек с хотя бы элементарными представлениями о вкусе и общественных приличиях не может воспринять иначе, чем как оскорбительную непристойность.

Год или два тому назад какого-то активиста подвергли полицейскому преследованию за лозунг “Долой самодержавие и престолонаследие!”. В общем, я думаю, правильно его наказали. Надо стараться тщательнее все обдумывать и выражать свои мысли более корректно. Потому что то, что мы наблюдаем, – это, разумеется, никакое не престолонаследие. Куда там! Это нормальный воровской

сходняк, где пред всем честным и нечестным народом какой-нибудь Димон коронуется условного Вована, а тот за это со своего плеча ему – бац! – премьерское кресло. Не ссы, дескать, Димон, пацаны своих не сдают. Все по понятиям. Вон и батюшка Чаплин сказал, что все типа по чесноку и что это, как его, “пример доброты и нравственности”. Этот-то за базар отвечает, пургу гнать не будет. Место ты мое посторожил – спасибо, братан. И я тебя не забуду – останешься доволен. А чтобы другие пацаны, которые не то чтобы не по понятиям, но по другим каким-то там своим понятиям нам предъяв не кидали, мы им там выборы изобразим в лучшем виде, процентики всякие, то-се, хуе-мое. Как у людей, короче. Они же, в общем-то, лохи те еще, поверят как миленькие. А не поверят, так прикинутся, что поверили. Да и как им не поверить, прикинь: они ж без нашей солярки с места не сдвинутся. А с нашей местной ботвой нам и вовсе покатило: лох на лохе сидит и лохом погоняет. Эту породу еще усатый пахан вывел с помощью Мичурина и Лысенко. Они хоть за нас с тобой, хоть за черта ушастого придут голосовать. Золотой у нас народ, братан, я так скажу. Я бы с ним... ну, короче, в разведку или там горы какие свернуть...

Почему я испытал столь сильные чувства, притом что ничуть не сомневался именно в таком повороте событий? Надеялся на что-то? Да нет, вряд ли. Не привык к их запредельному и, главное, оскорбительно наглому и вполне открытому жульничеству? А вот это да, не привык. И привыкать не собираюсь. Ибо именно та самая рутинная привычка, которой они только от нас и ждут, настоящей катастрофой и будет. Нет, не надо привыкать. Надо жить с ясным и непоколебимым пониманием того, что есть норма, а что есть патология, надо жить со звездным небом над головой и с нравственным законом внутри нас.

И с нами все будет в порядке, я уверен. Это они тут временные, а мы-то постоянные. Мы живем не одним и даже не двумя президентскими сроками. Мы-то живем историей и в истории. А история подлиннее будет трех и даже четырех президентских сроков. Она даже длиннее самого, страшно сказать, Путина в придачу с этим, как его... ну тем, который целые четыре года верно, как пионер из рассказа Пантелеева “Честное слово”, сторожил и грел президентский стул. Так что со стулом у них теперь некоторое время все в полном порядке. А вот со всем остальным...

В эти дни все спрашивают друг друга: “Что будет?” Я не знаю, что будет. Я не любитель прогнозов, и жизнь неоднократно давала мне понять, что она, жизнь, все равно причудливее, чем все прогнозы самых прозорливых прогнозистов.

Может быть, будет так же, как теперь. Может быть, хуже. Но я знаю, что когда слишком уж укрепляют вертикаль без учета почвы, на которой эта вертикаль стоит, то вертикаль эта может в одночасье рухнуть. И остается лишь уповать на то, чтобы не слишком она придавила тех, кто внизу.

За себя, за свой ближайший и даже не ближайший круг я не особенно беспокоюсь. Мы уже есть. Такие, какие есть. И другими нас не сделает никакая вертикаль.

А за детей я все-таки тревожусь, представляя себе, как они станут постигать этикетные нормы родного языка на примерах “жевания соплей” и “отрезания, чтобы не выросло”. Как они будут постоянно видеть перед собой на портретах скучное лицо районного опера с тухлыми глазами. Как они будут учиться нравственности на примерах этики сходняков и общаков. Как оперившиеся недоучки, вывалившиеся из Якеменкова гнезда, станут их учить любить родину и свободу. Как их будут насильно пичкать прогорклым ладаном и уверять, что таковы “основы православной культуры”. Как им будут объяснять, кого именно они должны благодарить за их счастливое детство, заботливо огражденное от происков злых дяденек из НАТО и агрессивной грузинской военщины.

Впрочем, хватит о грустном. Хочется все же напоследок рассказать что-нибудь веселое. Ну хотя бы это.

Моя знакомая рассказывала недавно, как она со своими друзьями ехала однажды на чью-то дачу. В электричке. С детьми. Ехать было довольно далеко. В какой-то момент она доблестно решила принести себя в жертву и взяла на себя детей, чтобы дать спокойно пообщаться взрослым, которые давно друг друга не видели. Она усадила детей поближе к окну и принялась импровизировать, используя мелькавшие за окном надписи и плакаты в качестве сказочных топонимов. “Мы, ребята, въезжаем сейчас в королевство «Лукойл», – говорила она. – В нем правит король Лука, прославившийся тем, что...” И так далее. “А теперь, ребята, мы прибыли с вами в княжество «Кирпич-цемент». Называется оно так потому...” Ну, в общем, понятно. Дети сидели тихо, как заколдованные. И вдруг на крыше большого сооружения они увидели надпись, поразившую не только детей, но и взрослых. Там огромными буквами было написано: “ИМПЕРИЯ ХНИ”. Когда кто-то из взрослых сообразил, что это всего лишь “Империя кухни”, где “к” упало, “у” пропало, а осталась лишь одна безысходная хня, все разразились громовым освобождающим смехом. А эта семантически неопределенная, но от этого лишь еще более соблазнительная и выразительная

“хня” прочно вошла в речевой обиход ее и ее друзей. “Что это еще за хня такая?” или “Ну и прочая всякая хня”, – говорят они по тем или иным поводам. А уж формула “империя хни” не является ли универсальным и практически исчерпывающим обозначением того общественно-государственного строя, того агрегатного состояния, в котором пребывает ныне наша страна?

Н-да... Кажется, весело все же не получилось. Но ничего, в другой раз как-нибудь.

Знаки внимания

Иду на мы

Местоимение “мы” в контексте любой общественной дискуссии в подавляющем большинстве случаев носит характер исключительно ритуально-усилительный. Оно как бы придает дополнительной весомости тому или иному высказыванию. Хотя, по-моему, совсем наоборот.

Попытка уточнить, кто такие “мы”, не только не вносит ясности, а лишь усугубляет и без того отчетливое ощущение абсурда. Потому что “мы” – это, оказывается, “народ”, “страна” или, в наиболее осмысленном варианте, “все здравомыслящие люди”.

Пробегаю глазами интернетовские перебранки, я сделал вот какое наблюдение. Когда человек пишет нечто эмоционально нейтральное, он может себе позволить говорить от первого лица единственного числа. Когда же страсти накаляются и оппоненты плавно приступают к ритуальным взаимным поруганиям и не менее ритуальным туманным или явным угрозам, они незаметно переходят на “мы”. “Ждите, мы придем”. “Мы не намерены терпеть”. “Нечего нас учить”. “Вы еще увидите наши танки на ваших улицах”. И то правда – не “мои” же танки, в конце-то концов. Но главное тут не в отдельно взятых “наших танках”. Главное – то, что человек подсознательно избегает персональной ответственности за абсолютно безответственный базар. Одно

дело “я вам устрою”, другое – “мы вам устроим”. А я что? А я ничего. Это все “мы”.

Все время получается так, что “мы” – это что-то вроде монолитной массы, весьма напоминающей ту, какую представляет собой ком слегка подтаявших, а потом заново замороженных пельменей.

Чаще всего человек, говорящий от имени бесплотного коллектива, ставит себя вне рамок дискуссионного пространства и может общаться (то есть переругиваться) только с другим представителем не менее иллюзорного коллектива.

Я тоже, как и всякий человек, думающий, говорящий и пишущий на родном языке, употребляю иногда это местоимение. Но при этом полагаю своей обязанностью обозначить границы и содержательные координаты своего “мы”. Свободным от этой обязанности я ощущаю себя только в одном случае: если разговор происходит в той среде, которая этим самым “мы” и обозначается, причем без каких бы то ни было уточнений.

Я уже писал что-то вроде того, что в моем понимании “мы” – это не народ, не партия и даже не коллектив того или иного прядильного цеха или наличный состав погранзаставы.

Мое “мы” – это культурная общность, внутри которой нет никакой необходимости всякий раз заново договариваться о том, что смешно, а что нет, что подло, а что благородно, что уродливо, а что прекрасно. Это неопровержимая убежденность в том, что конкретный человек, его жизнь, его здоровье – физическое и душевное, его свобода и его личное достоинство неизмеримо важнее, чем государство. Что если интересы государства противоречат интересам человека, то прав, безусловно, человек, а не государство.

Мое “мы” базируется на уверенности в том, что при соприкосновении с властью человек из чувства нравственно-эстетического самосохранения должен придерживаться определенных санитарно-гигиенических норм и правил. Потому что власть (по крайней мере здешняя) заразна. Потому что она “отвратительна, как руки брадобрея”.

Кстати, о цитатах. Различные культурные конвенции наиболее наглядно различимы по тому, кто какими кодами-паролями обменивается. Такими паролями чаще всего служат цитаты. По тому, кто что цитирует и кто на какие цитаты (или квазичитаты) откликается, можно судить о многом. Одни цитируют рекламные телеролики, другие – Пушкина и Гоголя. Одни – реплики персонажей из популярных мультиков, другие – Хармса или Мандельштама.

Существовал еще и особый, довольно специфический цитатный фонд. Это были агитпроповские лозунги или лезшие в глаза и вязнувшие в ушах и мозгах цитаты из классиков марксизма. Интересно, что этот фонд широко использовался и “нами”, и “ими”. С той, впрочем, существенной разницей, что “они” пользовались этим тотально растиражированным наследием совершенно всерьез и, так сказать, напрямую. А “мы” – с иронической дистанцией, позволявшей радикально нейтрализовать и по возможности обезвредить вредоносное воздействие этого мучительного собачьего бреда.

Со смешанным чувством радости и огорчения я вынужден констатировать, что такие кунштюки, как словечко “архиважно”, или “шаг вперед, два шага назад”, или “учение Маркса всесильно, потому что оно верно”, или “из всех искусств для нас важнейшим является кино”, или “где партия, там успех, там победа”, мало о чем говорят новому поколению.

Когда-то, в пору повышенного литературоцентризма, бывало такое, например. Приходит, допустим, в ваш дом малознакомый человек. Ну мало ли по каким делам. Вы провожаете его на кухню (все тогда сидели на кухнях) и почти автоматически произносите: “Мы с тобой на кухне посидим”. А он, этот практически незнакомый тебе человек, на таком же автомате продолжает: “Сладко пахнет...” И с этого момента вы понимаете, что неформальное общение возможно. А уж если он, угощаясь на вашей кухне чем бог послал, еще и скажет: “Вот какие большие огурцы продаются в наших магазинах”, то уже и до закадычной дружбы рукой подать. Тогда это происходило быстро.

Это, хотя и не так безошибочно, как прежде, срabатывает и теперь. Вот кто-то, например, пробежав глазами газетную заметку, в первой же фразе которой сообщалось о том, что “супертеноры Доминго, Паваротти и Каррерас все никак не соберутся завершить свою карьеру”, и бровью не повел. А у кого-то при чтении этой фразы во всей своей первозданной яркости мгновенно вспыхнули бодрящие ритмы “Песни о Гайавате”, и он разразился счастливым, освобождающим смехом.

Такой же счастливый, но совершенно непонятный кому-либо другому смех обуял одного моего приятеля, когда он ехал в такси и услышал по радиации обрывок разговора некоего неведомого и невидимого водителя с не менее невидимым диспетчером. “МКАД забит, – раздался из радиации деловитый голос. – Я съехал на Рублевку”. – “Чего это вы смеетесь?” – с некоторой, вполне, впрочем, объяснимой, подозрительностью спросил таксист. Ну что он мог объяснить, мой начитанный приятель? “Так, вспомнилась одна вещь”, – неопределенно ответил он. И, в общем-то, не покривил душой.

Когда он пересказывал НАМ этот эпизод, МЫ очень веселились.

Когда начинается искусство

Нет-нет, я не про “с кем вы, мастера культуры”. И не про “партийность-народность-идейность”. И не про “по какую сторону баррикад”. Еще чего не хватало. Да и нет, по правде сказать, на сегодняшний день никаких баррикад. Разве что виртуальные. Как и нет тех, с “кем” могли бы вступать в счастливое сладострастное слияние-поглощение упомянутые мастера.

Я о другом. Я о личном выборе. Тем более что слово “выбор”, именно так, в единственном числе, становится тем более значительным, чем все в большей и большей степени выхолащиваются остатки смысла из того же слова, но во множественном числе. “Выборы” не решают ничего. Их просто нет. Есть только выбор. Выбор, требующий не просто ответственности, но еще и поведенческого вкуса, чувства стиля.

Когда Андрей Синявский произнес свою знаменитую формулу о своих “чисто стилистических” расхождениях с советской властью, это высказывание показалось тогда многим чересчур эстетским, чрезмерно снобским, демонстративно легкомысленным, едва ли не эпатажным. Я не исключаю, что некоторый эпатаж с его стороны имел место. Впрочем, мотивации художественного жеста или высказывания очень часто оказываются несоизмеримыми с исторической судьбой самого высказывания.

Эта формула удивительным образом не устарела, лишь с каждой новой эпохой меняются точки ее приложения. Вроде бы и никакой советской власти давно уж нет, а “стилистические расхождения” все больше углубляются, становятся все более очевидными, чтобы не сказать роковыми.

Дело не только в том, что нынешняя политическая и общественная жизнь отличается какими-то невообразимыми и трудно описываемыми бездарностью и безвкусицей, запредельными даже на фоне той самой советской власти, при которой стилистические дырки заштопывались идеологически выдержанными плакатами и портретами “членов”.

Когда-то считалось и считается, увы, до сих пор, что искусство занимается, так сказать, красотой. Что его задача, условно говоря, радовать глаз и ласкать слух. Но эстетическое и этическое прописаны не по разным адресам. Они, если угодно, не легитимны друг без друга. Именно потому мы испокон веков пользуемся словесной формулой “некрасивый поступок”.

Когда из общественного обихода исчезают такие базовые категории, как достоинство, совесть, сострадание, да просто честность, то тут кончаются почва и судьба, а начинается как раз оно самое, искусство.

Искусство иногда сознательно, а чаще бессознательно берет на себя функции тех органов общественного организма, которые отказываются работать. Художник ощущает свою ответственность чаще всего интуитивно. Это вопрос не личной отваги, а интуиции, личного темперамента и, извините за пафос, профессионального долга. Он, художник, ничего особенного не делает, он просто заполняет содержанием пустующие сосуды.

Потому-то мне сегодня так интересны и кажутся необычайно важными радикальные уличные формы и жанры современного искусства. Оно, это искусство, занято не только тем, от чего устало отвернулось общество. Оно настойчиво и не всегда деликатно ставит перед обществом большие зеркала, от которых не всегда удастся отвернуться. Обществу это, как правило, не очень нравится, что и понятно. И поэтому такое искусство не может не третироваться как хулиганское и антиобщественное. Но искусство, извините, по-другому не может. И не должно. Иначе оно перестанет быть искусством, а станет в лучшем случае дизайном, который как раз по части радования глаза и ласкания слуха.

По тем же причинам мне хорошо понятно, почему в последнее время многие художники, литераторы, артисты, музыканты, ранее ничуть не замеченные в повышенной общественной активности, стали вдруг эту активность проявлять и совершать отчетливые социально значимые жесты.

Мне понятно, отчего это вдруг вполне успешный и прославленный архитектор инициирует протест против массового зачисления своего профессионального союза в какие-то неприличные “фронты”. Мне понятно, почему академический музыкант, дирижер и кабинетный философ публично заявляет о своей общественной позиции, в результате чего лишается дирижерского пульта. И мне хорошо понятно, почему камерный композитор, которому бы только для звуков жизни не щадить, приходит по 31-м числам на Триумфальную площадь, после чего на несколько часов становится опять же камерным композитором, но уже при несколько ином значении слова “камерный”. И мне очень понятно, когда крошечный экспериментальный театр ставит спектакль по материалам дела Магнитского.

Прошу все же понять меня правильно. Я никого никому не ставлю в пример и никого ни к чему не призываю. Степень социальной активности или пассивности артиста (и не только артиста) зависит лишь от его личного темперамента и, повторяю, личного выбора. Я всего лишь говорю, что очень хорошо понимаю мотивы тех, кто в наши дни ощущает властную необходимость социально значимого протестного жеста.

Но я, признаться, плохо понимаю мотивы любимого кинорежиссера, выступающего на митинге в поддержку Валентины Матвиенко. Нет, ничуть не осуждаю: он как был для меня великим артистом, так и остается. А именно не понимаю. Впрочем, всего умом не понять.

Гражданин-конформист – это неприятно, но это понятно. Нонконформизм всегда в меньшинстве. Художник-конформист – это, в общем-то, катастрофа. Прежде всего для самого художника.

Да, мы все либо преодолеваем множество искушений, либо им поддаемся. Чаще всего и то и другое.

Бывает искушение славой или бесславием. Слава, конечно, вещь для художника немаловажная, что и говорить. Но всегда остается вопрос, какова эта слава.

Бывает искушение деньгами. Да кто же что-нибудь имеет против денег-то! Но всегда надо помнить о том, что за деньги, конечно, можно купить свободу. Но за деньги же ее можно и продать. И это, увы, происходит, по крайней мере в наших широтах, куда чаще.

Есть искушение страхом. Страхом репрессий, изгнания, нищеты. Да, это серьезная вещь. Героев, сознательно готовых к тюрьме и суме, мало, их единицы. Но бывают случаи, когда брезгливость, презрение, эстетическая непереносимость того, чем ты окружен, оказываются сильнее страха. И ощущение внутренней правоты сильнее страха. И ощущение верности выбранного тобою пути сильнее страха. Да много есть того, что сильнее страха и всех прочих искушений.

Теперь тоже есть страх. Нет, уже не тот. Другой. Страх того, что государство что-нибудь не профинансирует. Что кто-то не даст денег на какой-нибудь фестиваль. Что тебя не позовут на прием в Кремль. Что тебе не дадут народного артиста.

Да много есть всяких коварных опасностей, подстерегающих на каждом шагу тонкого и нервного служителя муз.

Всем, кто еще не совсем подавлен этими крошечными ужасами, хочется все же сказать: “Жизнь коротка, друзья. Потерпите немножко. Не позорьтесь, не надо портить себе некролог. Подвигов от вас никто не требует. Но выбор всегда есть”.

Тревожиться сочинять

Не так давно я участвовал в весьма оживленной журналистской дискуссии. Речь там шла, понятное дело, об особенностях и задачах журналистской профессии в нынешних социально-политических условиях.

Говорилось о разном: о профессиональной чести и о профессиональном достоинстве, каковые в наши дни становятся реликтами и предметами роскоши, о фактическом умирании политической журналистики в ее строгом понимании

за практически полным исчезновением самого объекта таковой журналистики, то есть самой политики – в опять же строгом, цивилизованном понимании этого слова. Ну и о многом еще.

Когда дошла очередь до меня, я, начав с того, что журналистом себя ни в каком смысле, кроме формального, не считаю, заговорил, естественно, о факторе языка, каковой фактор считаю важнейшим не только для журналистской профессии, но и для описания и диагностирования общественной жизни вообще. Говорил я, в частности, и о том, что мы переживаем странную и плохо еще осознанную ситуацию, при которой семантические колебания слов и понятий, в том числе и вполне привычных, дошли до полной расшатанности. Что слова и понятия различными стратами общества воспринимаются не только по-разному, но иногда и прямо противоположным образом. Ну и так далее.

Вслед за мной выступил мой уважаемый коллега, очень известный и очень качественный, на мой взгляд, журналист. Подхватив заданную мною тему языка, он начал с рассказа о том, как совсем недавно вступил в острый виртуальный спор с неким журналистом, давним своим знакомым. Когда-то они были близкими приятелями и полными единомышленниками, но их взгляды и принципы за последние годы существенно разошлись. В пылу темпераментного спора они обменялись парой-тройкой не слишком парламентских выражений. В частности, рассказчик в полемическом задоре назвал своего адресата коллаборационистом, на что тот страшно обиделся.

Это он рассказал к тому, что не пора ли, мол, перестать стесняться точных и сильных слов и характеристик, каковые, казалось бы, были доведены по полной бессмыслицы трескучей журналистской риторикой советского периода. Да, “коллаборационизм”. Да, “империализм”. Да, “милитаризм”. Да, надо называть их же самих словами из их же протухшего словаря. Да, надо называть вещи своими именами. Пусть, типа, знают, кто они такие есть.

Дискуссия волей ведущего была вскорости свернута. А жаль: мне было что возразить уважаемому коллеге. Дорогой коллега, сказал бы я ему, то, что твой адресат обиделся на “коллаборациониста”, – это очень хорошо. Это означает как минимум, что он так же, как и ты, убежден в том, что быть коллаборационистом – плохо, стыдно и недостойно. А значит, с ним, с этим человеком, имеет смысл продолжать разговор.

Хуже другое: те, кого ты, дорогой коллега, предлагаешь клеймить и пригвозждать сильными словами, в этих сильных словах не видят ровным счетом ничего постыдного. “Ну да, – скажет такой, – я коллаборационист. Потому что я люблю и уважаю нашу власть и считаю священным долгом гражданина с ней всячески сотрудничать”. “Ну да, – скажет другой, – я империалист. Потому что я мечтаю о возрождении великой империи, а ее разрушение считаю величайшей геополитической катастрофой”. “Ну да, – скажет третий, – я милитарист, потому что уверен в том, что страна должна быть сильной и вооруженной, чтобы не зависеть от диктата мировой закулисы”.

Бесполезно, коллега. Потому что “сильные слова” теряют не только смыслы, но и, что важнее и страшнее, свою убийственную энергию. Из них выветрилось не только смысловое содержание, но и нравственное. Из них выкачан воздух. Они разрежены и разряжены. И никого ни к чему они не пригвоздят.

Не это ли причина того, что нынешняя власть слабо реагирует на слова? Она как бы терпима к словам и текстам вовсе не потому, что она такая добрая и толерантная, а потому что слова для нее ничего не значат. Ну “жулики и воры”. И что? А ничего.

И это принципиально новая ситуация для страны, устойчивой традицией которой во все времена было именно самое равнодушное отношение к слову. Во все времена за слова преследовали и награждали. А теперь и преследуют, и награждают совсем за другое. А если за это, то исключительно по инерции.

“Зачем же вам тревожиться сочинять?” – можно в таком случае воскликнуть словами тетушки из булгаковского “Театрального романа”. У меня, если честно, нет на это ясного ответа. В рамках той же дискуссии кто-то сказал: “Да, профессия исчезает из общественной жизни. Но мы пишем и будем писать, чтобы просто сохранить саму профессию”. – “Мы пишем, чтобы не разучиться писать”, – мрачновато подхватил другой. Я с этим вполне согласился, добавив при этом: “Для тех, кто еще не разучился читать”. Не такая уж ничтожная задача, по-моему.

Изделие номер два

Может показаться тривиальным, если я скажу, что резина является одной из наиболее метафорических субстанций. Соперничать с ней в этом смысле может лишь другая субстанция – ну, в общем, понятно какая.

Но мы все же о резине. Некоторые ее свойства, такие, например, как пластичность, упругость и растяжимость, давно и прочно служат обозначением для личностных свойств или типов социального поведения. Мне рассказывал знакомый, как он спросил однажды у одного из одиознейших кремлевских персонажей, которого когда-то неплохо знал: “Скажи, как же это получается, что еще год назад ты говорил одно, а теперь столь же убежденно говоришь прямо противоположное?” Тот самым нежным образом приобнял моего знакомого за талию, посмотрел прямо в глаза искреннейшим взглядом и проникновенно произнес: “Ты знаешь, я раньше и сам не знал, насколько гибок может быть человек”. Резина, в общем.

Или часто говорится что-то вроде того, что Москва, мол, не резиновая. Говорится часто и упорно. Хотя исторический опыт настойчиво убеждает нас в том, что именно она резиновая и есть. Ладно Москва. Однажды, еще в советские времена, мне пришлось присутствовать при разговоре двух литераторов. Одного из них недавно приняли в Союз писателей, и он буквально сочился неофитским ощущением собственной значительности. Второго, как было понятно из того же разговора, туда как раз не приняли, и он многословно и довольно нудно жаловался на такую вопиющую несправедливость. В какой-то момент новоиспеченный член назидательно произнес: “Ну, старичок, сам должен понимать – литература же не резиновая!” Я долго после этого при каждом подходящем или неподходящем случае использовал эту железную (а вовсе не резиновую) формулу: “Литература не резиновая”. Хотя, если вдуматься, какая же она еще. По крайней мере советская литература.

Кроме резины как субстанции существуют еще и так называемые резиновые изделия, названия которых, особенно просторечные, также часто служат для обозначения тех или иных носителей тех или иных человеческих качеств. Особенно среди них выделяется одно. И это не галоши, не ластик и даже не резинка от трусов. На аскетичном, стыдливом и конспиративном советском языке оно называлось “изделием № 2”. Меня, кстати, долгие годы занимал вопрос, какое же из изделий носило первый номер. Сравнительно недавно я узнал, что это противогаз. Впрочем, по силе и убедительности не только практического, но и символического наполнения “первое” изделие всегда сильно уступало “второму”, занявшему в народном сознании безусловно

лидирующее место.

Несмотря на вполне определенную утилитарную роль, предмет этот при желании мог наделяться и дополнительными функциями. Я, например, видел однажды, как мальчик лет девяти стоял на берегу Яузы и с помощью прутика имитировал рыбную ловлю. Когда я подошел поближе, я убедился, что он вовсе и не имитировал. Это и была ловля. Хотя и не рыбная. Небольшая, но вполне убедительная горка из упомянутых изделий, расположившаяся около него, явно указывала на вполне конкретный объект ловли. Но это случай особый и вполне маргинальный.

А вот о том, что этот предмет можно надувать до известных размеров, известно более или менее всем. Причем надувать не только в буквальном, но и в метафорическом смысле. Например, головокружительная карьера человека, называющего себя президентом России, есть нагляднейшее доказательство того, что при сильном желании, подкрепленном простенькой, но напористой пропагандой, а также армией, флотом, секретной полицией и свалившимися прямо в руки убедительными ценами на жидкое и газообразное топливо, можно достичь многого. Например, надуть небольшой и малозаметный предмет до размеров президента огромной страны. В свое время этот головокружительный цирковой номер так заворожил охочее до детских радостей российское население, что оно на сколько-то лет застыло в неловком оцепенении, а некоторых этот фокус заворожил до такой степени, что кое-кто даже всерьез поверил в то, что это самое изделие и есть президент.

В наши дни под неумолимым воздействием физических и общественных законов упомянутое изделие стало стремительно сдуваться, прямо на глазах обретая первоначальные размеры и очертания.

Как свидетельствует житейский опыт многих поколений, попытки заново надуть пресловутый объект (а именно такие отчаянные попытки мы и наблюдаем в наши дни) особым успехом, как правило, не увенчиваются: все те, кто в детстве пытался надуть эту штуку дважды, знают, что в таких случаях шарик номер два либо практически немедленно сдувается, либо лопается с неприличным физиологичным звуком.

Так что стоит ли особенно изумляться тому, что нынешний президент, который тогда еще был лишь кандидатом, сравнил однажды белые ленточки, стихийно ставшие символом общественного протеста, с этими самыми предметами? Тут и

тень венского доктора незачем лишний раз тормозить. Как-то все и так понятно. Резина – она и есть резина. Ей, резине, принявшей человеческий облик, свойственна не только способность надуваться, сдуваться и гнуться. Она еще и не в состоянии допустить, что существуют в мире предметы, явления, люди, сделанные из каких-либо иных материалов.

Вовсе не ерунда

Начну я с одного маленького эпизода из жизни, а закончу другим.

Первый такой. Однажды я провел вечер в большой компании, где среди прочих оказался и некий религиозный еврей – во всяком случае, именно так он себя позиционировал и вообще был в кипе. Он много, увлеченно и довольно интересно рассказывал о поведенческих правилах и запретах, особенно касающихся субботы. А дело происходило в пятницу вечером, то есть как раз как бы в субботу. В какой-то момент я заметил, что человек этот взял сигарету, чиркнул зажигалкой и, не прерывая своей маленькой лекции, невозмутимо закурил. Решив его дружески подколоть, я спросил: “А вы-то сами не соблюдаете, что ли, этих правил?” На что он назидательно поднял указательный палец вверх и убежденно произнес: “Я соблюдаю. Но я нарушаю”.

Я и сам стараюсь формулировать мысль как можно точнее. А потому такую точность высоко ценю и у других.

Но в данном случае я о другом.

Вообще-то эта тема неисчерпаема, как атом.

Можно, например, поговорить о том, что заветное наречие внутри языка, именуемое в быту матерным, уже много веков служит полигоном для демонстрации неисчерпаемости русского словообразования. Что с помощью всего лишь трех корней искушенный в этом деле человек способен сформулировать любую мысль, обозначить любой предмет, любое действие, любое явление и любое состояние тела и души.

Можно поговорить о том, что бывают случаи, когда человек, даже и обладающий всеми лексическими богатствами родного языка, не может выразить нечто никаким иным способом, кроме как... ну понятно. Вот, например, совсем недавно одного публичного человека потянули на цугундер на целых пару недель, инкриминируя ему в том числе и публичное сквернословие, выразившееся в том, что он вслух и при всех назвал некую группу лиц “при исполнении” мудаками. Слово “мудак” действительно считается официально табуируемым. И действительно за “мудака” вроде как надо отвечать. Как за “козла” и за “хорькабля”. Но как быть, если человеку, стремящемуся наиболее точно и корректно выразить свою мысль или дать наиболее точное определение тому или иному явлению, свойственно искать и находить наиболее адекватные слова и выражения? И если вы, читатель, знаете иной способ обозначить мудака, кроме как назвать его именно мудаком, то я могу только порадоваться за вас. Но я уверен, что мудака ничем, кроме как мудаком, назвать невозможно без потери смысла. А смысл – это самое главное.

Можно поговорить о том, что существуют люди, в том числе и самого благонамеренного направления мыслей, всерьез убежденные, что словарь национального языка делится на “хорошие” и “плохие” слова и что “хорошие слова” выражают хорошие мысли, а “плохие” – соответственно. А еще есть люди, уверенные, что культурный уровень человека определяется его персональным словарем. С этим в значительной степени нельзя не согласиться, если бы ревнители “культурности” не были бы склонны подходить к проблеме столь механистично и не полагали бы, что слово, допустим, “вдохновение” само по себе культурнее, чем слово, допустим, “жопа”. В то время как культурность заключается совсем в другом, а именно в ясном осознании уместности или неуместности употребления тех или иных слов в те или иные моменты и в тех или иных культурных контекстах.

Впрочем, к тем, для кого выражения типа “я в шоке” или “он предложил мне секс” представляются более культурными, чем иные выражения, куда энергичнее и точнее означающие соответствующие поступки или состояния, я не адресуюсь. Бог с ними.

Но любой хоть сколько-нибудь филологически искушенный человек знает, что хороших и плохих слов не бывает самих по себе. Что хорошими или плохими они становятся только в контексте высказывания и полностью зависят от мотивации их употребления, от их порядка, от интонации фразы в целом и, главное, от намерения говорящего или пишущего.

В бытовой речи существует такая устойчивая формула, как “ругаться матом”. Но ругаются далеко не только матом, а матом далеко не всегда ругаются.

Можно поговорить о том, что человеку, незнакомому с этим заветным и в общем-то прекрасным в умелых руках пластом русской речи, трудно объяснить, почему столь смешна роковая опечатка в машинописной характеристике, выданной некоей комсомолке с места работы. В этой характеристике, подписанной пресловутым “треугольником”, в частности, сообщалось, что она, характеризуемая комсомолка, “успешно сочетает работу с учебой”. Все бы ничего, если в слове “учеба” не была бы пропущена буква “ч”. Комический эффект существенно усиливался тем широкоизвестным обстоятельством, что это самое “успешное сочетание” – именно без “ч” – вполне соответствовало реальному положению дел.

Можно поговорить о том, что заведомая, непроходимая непристойность того или иного высказывания обеспечивается чаще всего не с помощью табуированных слов, а как раз посредством слов из “возвышенного” словарного репертуара. Что может быть кошмарнее таких, например, образцов рекламы соответствующих услуг, от нечего делать сочиненных мною и моим другом во время долгого полета из Москвы в Иркутск. “Утоли вкус страсти”, – написал он в моем блокноте и показал мне. По достоинству оценив его креативность, я предложил и свой вариант: “Элитные киски для романтиков со средствами”. Полет пролетел не зря и, главное, быстрее, чем ожидалось.

Культурные иерархии существуют вовсе не для того, чтобы слепо им подчиняться. Они существуют для того, чтобы их нарушать. Или хотя бы колебать, расшатывать, подвергать сомнению их незыблемость. Искусство именно этим, в частности, и занимается. Но такие иерархии надо знать, иметь их в виду, учитывать.

Культурно вменяемый человек обязательно нарушает речевые табу. А человек, так сказать, культурно девственный просто разговаривает именно таким образом безо всякого представления о самом существовании этих самых табу. Вроде лунатика, который безмятежно расхаживает в кромешной темноте по краю крыши вовсе не потому, что он такой отважный, а всего лишь потому, что он не знает о том, что ходит по краю крыши.

Если же меня спросят, являюсь ли я противником жесткого табуирования всего этого дела, то я убежденно скажу, что нет, ни в коем случае. Этот прекрасный и

яростный язык непременно должен оставаться табуированным, причем самым решительным образом и как можно дольше. Иначе безвозвратно потускнеет вся его прелесть, вся соблазнительность и все то, что маркирует зону свободы. И что мы тогда станем СОБЛЮДАТЬ? И что НАРУШАТЬ?

А то, что употребляемая взрослыми obscene лексика якобы непременно пагубно влияет на последующее речевое поведение детей, то на этот счет у меня есть и вторая обещанная история, маленький, но очень, по-моему, яркий эпизод, которым я и закончу и все выводы из которого я предоставляю сделать любезному читателю.

Эту сцену я наблюдал сам. Одна молодая мамаша, девушка вполне интеллигентная и в целом привыкшая “фильтровать базар” в присутствии своей четырехлетней дочки, однажды, устав от неостановимой болтовни своего не по возрасту развитого ребенка, в сердцах воскликнула: “Слушай, перестань уже нести свою херню!” И тут же в ужасе прикусила язык в надежде, что ее реплика проскользнула мимо бдительных ушей ребенка. Не тут-то было. Девочка подняла на маму свои невинные, внимательные, вдумчивые глаза и рассудительно сказала: “Нет, мама, это вовсе не ЕРУНДА”.

Моя жизнь в искусстве

Всю свою более или менее сознательную жизнь я дружил с художниками. Так получилось. Обстоятельства почти всех художественных знакомств были в общем-то вполне стандартными. Кто-нибудь из друзей-художников приводит тебя в мастерскую другого художника, своего друга, посмотреть работы и познакомиться. Иногда знакомства плавно перетекали в приятельства, а то и в дружбы, которые счастливо продолжают и по сей день.

Но бывали и более экзотические обстоятельства знакомств. Вот, например.

В мастерской одного из моих друзей-художников было большое застолье. Повода не помню – кажется, чей-то день рождения. Впрочем, в те времена поводы для застолий не очень-то нуждались во внешних обоснованиях. Нет, вру, вспомнил! Была встреча Старого Нового года.

За столом среди прочих – знакомых и не очень – людей сидел и художник М., ныне вполне известный, а тогда известный лишь в узких кругах, но по крайней мере известный настолько, что мне его имя в то время было уже знакомо. В какой-то момент я заметил, что художник М. с каким-то не вполне понятным интересом разглядывает меня. Причем разглядывает пристально. И не просто разглядывает, а как бы глазами измеряет параметры моего не слишком крупного корпуса. “В чем дело? – думаю я. – Уж не из этих ли он самых... как бы это пополицорректнее сказать...” Впрочем, слова “политкорректность” тогда еще не существовало в нашем обиходе, так что простите за анахронизм.

А он тем временем все смотрел и смотрел. Все мерил и мерил. Вдоль и поперек. В какой-то момент я не выдержал и спросил: “Простите, у меня сложилось впечатление, может быть и ложное, что вы измеряете мои габариты. Вы не гробовщик случайно?” Другие свои подозрения я по понятным причинам озвучивать не стал. “Вы даже не подозреваете, – сказал он и рассмеялся, – насколько вы близки к истине”. И он, предварительно извинившись за некоторую бесцеремонность своего поведения, объяснил, в чем тут дело.

“Дело в том, – сказал М., – что я хочу попросить вашего согласия на то, чтобы я сделал с вас гипсовый слепок”. “Час от часу не легче!” – подумал я и, не теряя похоронной нити, поинтересовался: “Посмертную маску, что ли, снять хотите?” – “Да вот еще! Ваше лицо меня совсем не интересует”. Прозвучало это несколько обидно, но зато честно.

“Мне, – говорит он, – очень подходит ваше тело”. – “Спасибо, – говорю, – но мне и самому оно подходит”. В общем, диалог наш принял отчетливые черты черноватого абсурда. Но он все же разъяснил, что к чему, хотя я и не могу сказать, что это “что к чему” внесло ясную гармонию и тихую безмятежность в мою мятущуюся душу.

Оказалось, что художник М. в настоящий момент по заказу одного из столичных театров делает сценографию для спектакля “Преступление и наказание”. “А я-то тут при чем? И гипсовые слепки...” – “Да подождите же! – слегка уже раздраженно говорит М. и продолжает: – У меня там на авансцене все время действия должен лежать труп старушки, накрытый грудой окровавленных газет. А рядом – топор. Понятно?” – “Нет”, – честно говорю я. “Ну как же непонятно? Вы мне по своим размерам идеально подходите для трупа. Ну, в смысле, для трупа старушки. Гипсового”. – “А голова? Лицо?” – “Да какое лицо! Все же под газетами. Какая голова! Вы что, не читали?” – “Да нет, вроде читал”. – “Ну и что

скажете?”

Я отказался, конечно же.

Почему? Из суеверия ли? Из боязни ли щекотки, неизбежной при обмазывании твоего тела мокрым холодным гипсом? Или так, вообще? Но отказался.

Он, кажется, не очень на меня обиделся, вполне осознавая некоторую, скажем так, нетривиальность своего предложения. “Да ладно, – сказал он, – я, честно говоря, и не ждал, что вы согласитесь. А не знаете кого-нибудь вроде вас, кто согласился бы?” Никого вроде себя я не знал.

Не знаю, как дальше складывались его поиски, но то, что на премьере спектакля лежал-таки на авансцене гипсовый труп “вроде меня”, – это факт.

“Мне, кстати, очень нравится, что вы пишете”, – сказал он мне в завершение нашего довольно-таки мучительного разговора. “Мог бы с этого и начать”, – ворчливо подумал, но не сказал я.

Так не состоялась моя обещавшая стать ослепительной карьера в великом искусстве сценографии. Но так состоялось доброе и долгое приятельство с хорошим художником и очаровательным человеком.

Но когда я однажды напомнил ему об обстоятельствах нашего знакомства, он уверенно заявил, что ничего такого не помнит и что этого вообще не было и быть не могло. Здравсте, не могло! Но ведь было же!

Я-то уверен, что сама по себе эта нехитрая, но милая история вполне самоценна и вполне заслуживает той беллетризации, на какую способен автор. Но бывают, я знаю, суровые читатели, требующие морали и серьезных жизненных или – пуще того – общественных выводов. Бывают серьезные ребята, постоянно – по бессмертной формуле Зощенко – вопрошающие “что хотел сказать автор своим произведением”.

Ну и пусть вопрошают. В крайнем случае мы ответим им словами из известного анекдота про доктора Фрейда и его дочь: “Бывают, доченька, случаи, когда приснившийся банан означает всего лишь банан”.

Сезонная лирика

Ну и о поэзии все-таки надо когда-нибудь уже поговорить. Не все же только о суете и прозе нашей жизни. Не все же о грязных сугробах, о ледяных тротуарах, об уксусно-кислой городской и общественной атмосфере или о том, чье металлическое, с привкусом ржавчины имя не может не вспомниться в первых числах марта. А если не вспомнишь сам, то тебе непременно его напомнят.

А мне вот захотелось о другом. Совсем о другом. О том, например, как именно 5 марта 198* года (число понятно почему запомнилось, а год – лишь приблизительно) я посетил квартирное чтение поэта К., куда меня пригласили хозяева дома, милейшие П. и М.

О поэте К. и его поэтическом творчестве я уже имел некоторое представление. Из нескольких прочитанных мною его стихотворений я знал, что К. является носителем и выразителем некоторого набора очень правильных, бесспорно благородных идей и мыслей, выраженных регулярным метром, украшенным довольно точной рифмовкой. Одним словом, никаких искрометностей я не ждал, но не мог отказать симпатичнейшим и бескорыстно энтузиастическим хозяевам дома.

В общем, я пошел.

Усадили меня довольно далеко от дверей, между подоконником и столиком с аквариумом. Об этих деталях я упоминаю не просто так, ради красного художественного словца, они, вроде как чеховское ружье, чуть позже непременно выстрелят, хотя и не залпом, а поочередно. Имейте терпение.

Все расселись, поэт достал из портфеля много бумажек и принялся читать их вслух. Я, повторяю, и без того не ждал от этого чтения ничего особо духоподъемного, но действительность, как говорится, превзошла. Читал он мерно, чтобы не сказать монотонно, безнадежно тоскливо, с виноватыми почему-то интонациями подростка, застуканного завучем в процессе курения в уборной.

Кстати, о курении. Мне с первых же тактов мучительно захотелось курить. А это с давних пор служит для меня безошибочным критерием в художественной оценке концерта, спектакля, кинофильма, литературного чтения. Но сидел я, как было сказано, далеко от дверей, поэтому о выйти покурить и речи быть не могло.

Я страдал.

Вначале я пытался развлечься собственно поэзией. Когда прозвучали строчки “И ты тогда сказала мне, что в этом мире мы одне”, я стал думать, сообщить или не сообщить автору после чтения или, еще лучше, в перерыве, который, к моей радости, все же был торжественно обещан, но не исполнен, что если ему угодно щегольнуть дореволюционной грамотностью, то не мешало бы знать, что “одне” – это, вообще-то говоря, множественное число женского рода. И что по этой причине лирический герой стихотворения выходит вроде как женщиной, то есть является не героем, а героиней. Что входит в явное противоречие с соседствующими строками того же стихотворения, где он выступает в роли все же мужчины. По крайней мере в грамматическом смысле: “А я тогда сказал тебе, что та-та-та-та-та (не помню) судьбе”. Решил я все же ничего ему не говорить. Зачем обижать человека? Но недолго пришлось мне забавляться не предусмотренной автором андрогинностью его лирического героя. Дальше опять пошло все грамматически дистиллированно, а поэтому окончательно скучно.

И я страдал. Недолго, впрочем. Сидел я, как было сказано, около окна. Квартира находилась на первом этаже. Форточка была раскрыта. Окно выходило во двор. А во дворе располагался склад винного магазина. В какой-то момент прозвучал спасительный звук автомобильного мотора, и во двор въехал грузовик с товаром. Двое бодрых рабочих принялись разгружать ящики с вином, и я некоторое время вдыхал воздух самой жизни, которая, по словам Хармса, всегда побеждает смерть неизвестным науке способом. Жесткий, мужественный ритм, с каким разгружаемые ящики плюхались на землю, счастливым образом совпадал с ритмом поэтических строк, а сопутствующие речи грузчиков, своей лексикой и фразеологией резко контрастировавшие с тем, что звучало из уст вдохновенного стихотворца, произносившего что-то об “осиных талиях бокалов”, напоминали о том, что есть еще на свете и что-то живое. Но и это счастье прошло, как с белых яблонь дым, а поэт все читал и читал. Время от времени он, подлец, спрашивал со специальной улыбкой: “Вы не очень устали?” – и, не дождавшись ответа, продолжал.

Ну что тут делать? Делать нечего. И я направил свое внимание на аквариум с рыбками. Видимо, зря я не сделал этого раньше, ибо происходившее в аквариуме впечатляло своим нешуточным драматизмом. Среди трех-четырех рыбок, явно глухих к поэтическому искусству и поэтому лениво и неритмично бороздивших не слишком бескрайние просторы аквариума, была одна, резко выделявшаяся среди товарок явно нестандартным поведением. Она буквально металась, как какая-нибудь Катерина из “Грозы”, ударяясь время от времени о стеклянные стенки, и не находила себе покоя. Я стал следить за ней, мучаясь от невозможности чем-нибудь ей помочь. Неужели на нее так действуют стихи поэта К., глупо размышлял я, а она металась в тихих водах аквариума все яростнее и самозабвеннее. Когда же поэт произнес золотые слова “ну и последнее”, рыбка разогналась изо всех сил и в пароксизме вселенского отчаяния со всего маху треснулась буйной головой об стенку. После этого ее бездыханное тельце медленно и печально развернулось животиком вверх и стало торжественно, как флаг, вздыматься вверх, достигнув поверхности ровно в тот момент, когда поэт закончил-таки читать стихи.

Все, кроме несчастной, не в меру чувствительной рыбки, остались живы, и в целом, опять же не считая этой невинной жертвы, о которой я не стал сообщать хозяевам (зачем их расстраивать до поры до времени, сами пусть увидят), все закончилось благополучно.

Из последних сил симулируя искренность, я поздравил поэта с заслуженным успехом. А потом все-таки не удержался и сказал ему про “одне”. Он слегка надулся и принялся спорить. Я, и без того чувствуя себя виноватым в мелочности и невоздержанности и досадуя, что вообще завел этот разговор, не стал сильно настаивать на своей правоте.

А день этот мне запомнился во всех деталях. Спасибо товарищу С., благодаря которому я запомнил дату, счастливо совпавшую с датой его безвременной кончины. Спасибо поэту К., так и не сумевшему истребить до конца моей любви к поэзии, милейшим хозяевам дома П. и М., усадившим меня между подоконником и аквариумом, бодрым грузчиком винного магазина – носителем живого великорусского языка. Отдельное спасибо безымянной аквариумной рыбке, чья безграничная и в буквальном смысле жертвенная любовь к поэтическому слову навсегда пребудет мне укором и уроком. Спасибо также терпеливому и благосклонному читателю, который не станет ворчать и сетовать на легкомысленность и общественную малозначимость этого текста. Спасибо всем.

Вязкая вязь

Читаю в новостях: “По прогнозам скептиков, днем в Москве и Подмосковье воздух ожидается до 4 градусов мороза”. И думаю: “То, что «воздух ожидается», это ладно, это в новостных лентах бывает сплошь и рядом. А скептики-то тут чего делают? И если скептики обещают такое, что же в таком случае обещали оптимисты?” Во втором чтении скептики, разумеется, оказались синоптиками, хотя первый вариант все равно показался мне куда более контекстуально оправданным, если учитывать мое устойчиво неприязненное отношение к разным минусовым градусам. Чем больше минус, тем и ненависти больше. А ненависть ослепляет.

А потому и очитки у каждого свои. Впрочем, это замечено давно.

Ну и с опечатками то же самое. Вот, например, знакомый журналист, пишущий на армейские темы, показал мне однажды свою коллекционную гордость – номер какого-то военного журнала, название которого (не помню какое, ну, допустим, “Русский витязь”) было набрано славянской вязью, да и общая направленность этого журнала этой самой вязи более чем соответствовала. Так вот, на первой же странице номера редакция горячо поздравила своих читателей с праздником “Святой Торицы”. Эта “Торица” тоже была набрана кучерявой вязью. Ну, тут все понятно – вечный покой венского мудреца можно не тревожить.

Почему-то эта стилизованная вязь воспринимается многими как несомненный признак чего-то глубинно русского. В то время как она имеет точно такое же импортное происхождение, как и все прочие кириллические шрифты. Нацисты, к слову сказать, обожали старинный готический шрифт, причем обожали столь страстно, что в современной Германии этот шрифт до сих пор вызывает довольно зловещие ассоциации. Но это так, к слову.

А я вспоминаю, как много лет тому назад присутствовал на каком-то большом и бестолковом застолье. Это была чья-то свадьба, а такой жанр предполагает повышенную разношерстность и непредсказуемость сидящей за столом публики. Среди пирующих был молодой симпатичный болгарин – однокурсник жениха. В какой-то момент к нему подсел неизбежный провинциальный родственник,

которого “неудобно не позвать”. Родственник налил себе и болгарину и энергично принялся осуществлять дружбу братских народов за одним отдельно взятым столом. “Мы ведь братья! – проникновенно восклицал он. – Славяне!” Болгарин вежливо соглашался. Да и как попрешь против очевидных фактов. “У нас много общего, – продолжал дружить родственник. – У вас даже наши русские буквы”.

Тут тихий интеллигентный болгарин, до этого согласно кивавший головой, вдруг поднял брови, раздул ноздри и почти закричал: “Что-о-о?! У кого чьи буквы?” Пьяноватый, но миролюбивый родственник стушевался и в целях избежания международного конфликта промямлил что-то про то, что в Болгарии хорошие сигареты, в доказательство чего вынул из кармана пачку “ВТ”.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Это предисловие Петра Вайля (1949–2009) написано в 2008 году для сборника колонок Л. Рубинштейна “Духи времени”, впоследствии оно вошло в книгу “Скорее всего” (2013).

2

“Духи времени”. (Прим. ред.)

Купити: https://tn.knigapoisk.com/rubinshteyn_lev/что-слышно-sbornik

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)